**3**

*Вклад Лакассаня в разработку основных вопросов судебной медицины. Ролле. Судебно‑медицинское учение о строении костей и идентификация Гуффэ.*

В четыре часа пополудни останки мертвеца из Мильери лежали на столе для препарирования в аудитории Лакассаня на медицинском факультете Лионского университета.

Пустым и покинутым выглядел обычно заполненный студентами зал. Лишь в самом верхнем ряду сидел инспектор Жом. Несмотря на насмешливые взгляды Лакассаня, он держался как можно дальше, как значилось в одном отчете того времени, «от того мира, в котором Лакассань был как дома». Возле Лакассаня и у противоположного края стола стояли Горон, Берар, шурин Лакассаня д‑р Этьен Ролле, его ассистент д‑р Сен‑Сир, а также (с трудом скрывая нервозность) д‑р Поль Бернар – врач, который в августе исследовал мертвеца из Мильери и первым вскрыл его.

Александр Лакассань был мужчиной среднего телосложения. Из‑за густой вьющейся бороды он выглядел много старше своих сорока шести лет. Но в нем пылала та страсть к судебной медицине, без которой ни один из ее пионеров не избрал бы это зачастую весьма мрачное поле деятельности. В то далекое время, когда холодильники были также неизвестны, как и резиновые перчатки, когда в Лионе даже разложившиеся трупы исследовали голыми руками и эти руки вряд ли можно было полностью избавить от трупного запаха, упомянутая страсть была столь же необходимым качеством судебного медика, как и неукротимая пытливость. Лакассань был родом из Каора и окончил военное училище в Страсбурге. Позже он стал военным врачом в Северной Африке. Уже там он начал интересоваться судебным аспектом медицины. Среди солдат и мерзкого беспризорного сброда в преступных кварталах Туниса и Алжира были широко распространены татуировки. Они дали Лакассаню повод для обширного исследования, посвященного значению татуировки для идентификации. Но это было лишь начало. Лакассань интуитивно понял, что с внедрением судебной медицины открываются новые горизонты, которые в век промышленного развития и социальных трений со всеми сопутствующими им явлениями в области медицины и преступности прямо‑таки требуют, чтобы их изучали. В 1878 г. вышел в свет его «Очерк судебной медицины», а когда в 1880 г. в Лионе была создана кафедра судебной медицины, Лакассань стал первым профессором судебной медицины, который работал в большом провинциальном городе. Его одухотворенное жизнелюбие, личное обаяние и широкая медицинская, биологическая и философская подготовка позволили ему за несколько лет стать одним из серьезнейших конкурентов парижской школы судебной медицины – детища Орфила и Девержи.

Лакассань внес существенный вклад в объяснение основных вопросов судебной медицины и гигиены. Он занимался разработкой методов установления факта смерти. Ведь ему было поручено наблюдать за моргами, где тянулись длинные веревки с колокольчиками, чтобы мнимые покойники, проснувшись, могли вызвать сторожей. Самые известные к тому времени «пробы на жизнь» все еще заключались в помещении зеркала или пухового перышка перед ртом и носом предполагаемого покойника, чтобы по запотеванию зеркала или колебанию перышка узнать, «имеется ли еще дыхание». Полная надежность установления факта смерти отнюдь еще не была достигнута: Девержи при случае прибегал к такому сомнительному способу, как сердечное сечение, при котором палец через разрез в теле опускался на сердце, чтобы ощутить, бьется ли оно еще. Лакассань также обогатил знания о феномене трупных пятен. После ряда наблюдений и опытов он объяснил их появление тем, что кровь после прекращения кровообращения стекала в наиболее низко расположенные части тела и придавала коже в этих местах серо‑фиолетовую окраску. Криминалистическое значение трупных пятен нельзя было недооценивать. Отекание крови происходит в определенные промежутки времени. Начинается оно обычно через полчаса после смерти. В течение первых десяти – двадцати часов появляющиеся пятна можно устранить путем нажатия, ибо кровь в подкожных сосудах уступает этому давлению. Лишь позже пигмент крови проникает сквозь стенки сосудов в ткани и кожу, так что удалить пятна путем нажатия уже невозможно.

Из этого можно сделать выводы относительно момента наступления смерти в результате преступления или в каком‑либо ином случае наступления смерти. По невыясненным причинам в течение нескольких часов после смерти трупные пятна могут даже перемещаться, если положение покойника изменится: кровь стекает в те части тела, которые оказываются в результате такого перемещения в самом низу. Но затем такая подвижность крови прекращается. Поэтому, если трупные пятна обнаружены в высоко расположенных частях тела, это свидетельствует о том, что мертвец в течение определенного периода времени неоднократно перемещался из первоначального положения. Лакассань старался как можно точнее определить этот период.

Нечто подобное происходило и в связи с проблемой окоченения умерших, которая в 1811 г. привлекла внимание уроженца Бельгии Пьера Нистэна. Он первым точно описал направление распространения и течение во времени этого мышечного оцепенения у покойников, которое на протяжении столетий давало повод для бесчисленных домыслов. Согласно Нистэну, оно начиналось с мускулатуры скул, затем охватывало шею и руки, с тем чтобы спустя более или менее продолжительный период исчезнуть в той же последовательности. Обычно оно кончалось на третий или четвертый день. Оказалось, что феномен трупного окоченения тоже важен для определения момента наступления смерти. Но Лакассань установил, что при этом надо учитывать и многочисленные отклонения от правил, и пришел к выводу, что начинается окоченение не с области скул, а с сердца.

Он столкнулся и с проблемой, над решением которой судебной медицине придется впоследствии трудиться еще многие десятилетия. Вслед за вопросами о трупных пятнах и трупном окоченении он взялся в конце концов и за изучение вопроса о посмертном охлаждении тела. Еще великие пионеры судебной медицины пытались проследить ход этого охлаждения во времени, ибо это позволяло в случаях убийства или при несчастных случаях ретроспективно установить момент, в который наступила смерть. Эмпирическим путем было выведено правило, что температура тела в первые четыре часа после смерти снижается каждый час на один градус по Цельсию. Но и здесь имелось много неожиданностей, неопределенностей и зависимостей от окружающей температуры. Все это побудило Лакассаня высказать одну из главных своих заповедей: «Надо уметь сомневаться». Ведь именно загадки и неясности манили его и заставляли биться над их разрешением.

К началу работы над мертвецом из Мильери лицо Лакассаня пылало гневом, оснований для которого у него было предостаточно. К его наиболее известным заповедям принадлежат слова:

«Ошибки плохо проведенного вскрытия непоправимы». А ведь д‑р Бернар был препаратором в его, Лакассаня, институте. Удастся ли сейчас, негодовал Лакассань, узнать больше того, что было установлено при первичном вскрытии? Каким же грубым было оно! Какие ненужные повреждения на шее! Какое варварское обращение с черепом и грудной клеткой! Черепная коробка совершенно разбита, большие части утеряны! Как безобразно сломано ребро! И это плоды его обучения? А то, что д‑р Бернар не уничтожил, было разрушено в результате изменений, происшедших в трупе за три месяца. Не осталось ничего, что годилось бы для идентификации покойника, за исключением костей и волос. Но даже на костях Бернар оставил следы своей грубой работы. Впрочем, потребовалось не так уж много времени, чтобы гнев Лакассаня иссяк. Его задача – тайна идентификации, которую он должен вырвать у мертвеца – была сильнее гнева. И он приступил к работе.

То, что началось в эти поздние послеобеденные часы, было лишь первым актом виртуозного концерта, продлившегося почти одиннадцать дней. Так как, помимо костей и волос, не осталось ничего пригодного для патологоанатомического исследования, первые усилия Лакассаня были направлены на высвобождение скелета из разлагающейся массы. Целых шесть лет отделяли еще Лакассаня от открытия рентгеновских лучей, которым предстояло позже сыграть огромную роль в судебно‑медицинском исследовании частей скелета. Пока же Лакассань вынужден был довольствоваться только тем, что видели его глаза. Но по его инициативе д‑р Этьен Ролле несколько лет работал над решением проблемы того, как на основе имеющихся отдельных костных деталей определять размеры тела умершего, если вследствие разложения его нельзя уже было измерить обычным способом. Исследования Ролле к тому времени закончились, и 1889 год – год обнаружения мертвеца из Мильери – был вместе с тем годом опубликования сочинения Ролле «Об измерении длинных костей конечностей и их отношении к антропологии, клинике и судебной медицине». Ему было предназначено стать Исходным пунктом для работ, которыми и шестьдесят лет спустя все еще занимались многочисленные исследователи, в том числе американцы Дюпертуа, Хэдден, Троттер и Глезер. На основе изучения 50 покойников мужского и 50 – женского пола Ролле вычислил, что между общей длиной тела и длиной отдельных его костей имеется довольно точное соотношение. Так, верхняя плечевая кость длиной 35,2 см соответствует длине тела порядка 1 м 80 см. Конечно, замеры дают лишь приблизительные результаты, если в распоряжение эксперта имеются только суставные кости. Но чем больше костных частей. тем точнее будет результат. Если, к примеру, в наличии были обе плечевые кости, Ролле замерял длину обеих и выводил среднюю цифру, которую и брал за основу своих вычислений размеров тела. Если же в его распоряжении сверх того были верхние черепные кости, бедренные кости и кости голени, он получал на удивление точные данные. Он создал формулы и таблицы таких вычислений, которые даже впоследствии в своей основе не подвергались существенным изменениям.

Д‑р Бернар определил размеры тела мертвеца из Мильери «на глазок». Теперь же Лакассань препарировал кости рук и ног покойника и тщательно замерял их. Вычисление размеров тела по костям рук дало результат, равный 1 м 76 см, по костям ног – 1 м 81 см, а путем выведения среднего арифметического из обоих чисел он получил рост в 1 м 78,5 см. Когда он сообщил об этом первом результате своих усилий Горону, то поначалу вызвал у того, по всей видимости, горькое разочарование. Ведь согласно словесному портрету Гуффэ, составленному на основании сведений, полученных от его близких, рост Гуффэ был равен 1 м 75 см. Однако одержимость, с которой Горон шел по следу Гуффэ, заставила его связаться 15 ноября с военным ведомством Парижа. И тут оказалось, что во время прохождения военной службы с Гуффэ были сняты все необходимые мерки. Данные о росте в его военных документах свидетельствовали: 1 м 78 см! Потревожили и портного Гуффэ – Ошара. Его показания подтвердили вычисления Лакассаня.

А тем временем Лакассань проводил еще более важные для дела исследования. Во время препарирования костей правой ноги ему бросилось в глаза, что костные части, на которых у человека крепится мускулатура ног, подверглись странным изменениям. От самих мускулов вследствие разложения не осталось ничего такого, что дало бы возможность судить об их прежнем состоянии. Но явные изменения костей свидетельствовали о том, что мускулатура на правой ноге была слабее, чем на левой. Причем на голени это недоразвитие было выражено сильнее, чем на бедре. Лакассань пришел к выводу, что это результат какой‑то болезни. Тщательно сравнив все части правой и левой ноги, он столкнулся с деформацией коленной чашечки в правом колене, которую он часто наблюдал в прошлом в случаях воспалительного процесса в колене. Сравнение костей стопы повело Лакассаня еще дальше. В голеностопном суставе правой ноги имелись изменения, характерные для людей, перенесших в молодом возрасте туберкулезное воспаление суставов. Когда же Лакассань взвесил все кости правой и левой ног, то обнаружил маленькое, но примечательное различие. Левая, по видимости здоровая, опорная ножная кость весила 65 граммов, в то время как правая – только 55 граммов; различие же в общем весе костей правой и левой ноги достигало 39 граммов. Слишком многое указывало на то, что правая нога подверглась болезненным изменениям. Лакассань сообщил Горону, что мертвец из Мильери страдал, по всей вероятности, в молодости туберкулезом суставов правой стопы с последующим ослаблением мускулатуры правой голени и правого бедра. Вследствие этого его походка была слегка хромающей. По меньшей мере он слегка тянул правую ногу. А позже у него в колене развилась водянка.

Горон тотчас же связался с Парижем. Он навел справки у дочерей Гуффэ, у врача Гуффэ доктора Эрвье, у сапожника Гуффэ (просто мистика – сапожник носил фамилию Мильери!). Данные Лакассаня нашли поразительное подтверждение. Гуффэ действительно слегка хромал, но из‑за его болезненного самолюбия никто не смел даже упоминать об этой беде. Мускулатура его правой ноги была ослаблена. Отец Гуффэ и парижанка Луиза Доминик, знавшая Гуффэ с детства, подтвердили, что после падения на груду камней он страдал воспалением суставов стопы, которое годами не хотел лечить. У доктора Эрвье Гуффэ лечился в 1885 г. по поводу водянки коленного сустава. Врач направил его для дальнейшего лечения к доктору Гийо. Гийо подтвердил не только заболевание колена, но и болезненное изменение всей правой ноги. Впервые Горон испытал чувство подлинного удовлетворения, если не триумфа.

А работа Лакассаня была еще далеко не кончена. При исследовании костей и хрящей рта и шеи он натолкнулся на переломы обеих верхних дуг щитовидного хряща. Он увидел в этом подтверждение вывода Бернара о том, что покойный скончался от насильственного удушения, но в противоположность Бернару считал более вероятным удушение руками, чем веревкой. Однако в первую очередь при исследовании останков головы им двигало стремление определить возраст умершего точнее, чем это сделал Бернар. В те дни методика установления возраста по зубам находилась еще в «раннем детстве», как и сама зубоврачебная наука. Даже три четверти века спустя определение возраста по зубам все еще относилось к наименее исследованным областям судебной медицины. Во времена же Лакассаня знания в этой области позволяли сравнительно надежнее определять возраст людей лишь до двадцать четвертого или двадцать пятого года жизни. Установление более позднего, среднего возраста представляло гораздо большие трудности.

И выдающейся заслугой Лакассаня в тех условиях было то, что к середине ноября, исходя из степени износа основного вещества зуба, зубной эмали, образования зубного камня на корнях и истончения этих корней, он сделал вывод, что покойник должен быть старше, чем установил Бернар. Лакассань определил его возраст словами «около пятидесяти лет». Если учесть, что Гуффэ было сорок девять лет, то понятно, почему Горон почувствовал еще большую уверенность в своей правоте.

Но Лакассань представил ему еще одно, последнее подтверждение. Одной из главных причин того, что следственный судья, а также Судэ и Ландри оспаривали тождественность Гуффэ с мертвецом из Мильери, была констатация Бернаром черного цвета волос трупа. Гуффэ же, по сведениям, полученным от его семьи, парикмахера и всех знакомых, имел волосы каштанового цвета. Однако Лакассань еще раньше ставил различные опыты, стремясь путем сравнения волос, найденных на месте преступления, с волосами подозреваемого получить улики, которые можно было бы использовать для расследования преступлений. Уже ряд лет он проводил исследования волос под микроскопом и побуждал химика из Лионского университета профессора

Югупанка к химическому исследованию волос. По указанию Горона сотрудник Сюртэ поспешил на квартиру Гуффэ и изъял там его головную щетку, которую курьер привез в Лион. Лакассань нашел в ней достаточно волос, чтобы провести сравнительное исследование. Прежде чем сравнивать волосы трупа с волосами из головной щетки Гуффэ, он несколько раз промыл волосы покойника. Этого было достаточно, чтобы смог проступить их каштановый цвет. Однако, чтобы увериться в том, что ни Гуффэ, ни мертвец при жизни не красили своих волос, он решил подвергнуть волосы обоих химическому исследованию. Югунанк искал следы наиболее известных основных веществ, входящих в состав красителей для волос, – меди, ртути, свинца, висмута и серебра. Все анализы были отрицательными. Таким образом, Лакассань мог быть уверен в том, что обе пробы волос имеют свой первозданный цвет. Лишь после этого он измерил толщину волос под микроскопом и пришел к настолько глубокому убеждению об их тождественности, что 21 ноября, обращаясь к Горону и Жому, воскликнул с некоторой театральностью, что, кстати, было ему не чуждо: «Господа, я передаю вам месье Гуффэ!»

**4**

*Триумф в Париже. Преследование убийц Гуффэ: Мишеля Эйро и Габриэль Бомпар. Французская судебная медицина как предмет национальной гордости и глубокая вера в непогрешимость науки.*

Когда днем позже, 22 ноября, Горон вернулся в Париж, его встретили заголовки в «Энтрансижан»: «Труп опознан!», а также сообщения прессы, во всех деталях описывавшие работу Лакассаня: тем самым впервые судебно‑медицинское исследование стало сенсацией дня. Старый служака был, наверно, раздосадован, что слава Лакассаня затмила его собственную. И это побуждало его во что бы то ни стало найти убийцу Гуффэ.

К 25 ноября по заказу Горона ремесленники изготовили копию сундука из Лятур‑де‑Мильери. Через день его выставили на всеобщее обозрение в парижском морге, а Горон обратился к публике с вопросом: «Где был изготовлен этот сундук и где он был продан?» В течение трех дней двадцать пять тысяч человек прошествовало мимо сундука в морге, как будто бы речь шла о прощании со знаменитостью. 26 ноября один мастер с улицы Бафуа, занимающийся изготовлением сундуков, заявил, что данный сундук никоим образом не мог быть изготовлен и продан во Франции, ибо это английская продукция. Горон прислушался к его доводам, тем более что как раз в это время получил письмо Шевона – француза, живущего в Лондоне. Как утверждал Шевон, 24 июня 1889 г. одна француженка, тоже проживающая в Лондоне, мадам Веспрэ, прислала к нему приезжего из Парижа, желающего снять комнату. Этот приезжий, назвавший себя Мишелем, снял комнату для себя и своей дочери. Четыре дня спустя они приобрели у фирмы «Цванцигер» на Юстон‑роуд большой сундук – точно такой же, как выставленный в парижском морге. В середине июля Мишель и его дочь уехали, забрав с собой сундук.

В тот же день Горон велел изготовить фотоснимки сундука и послал с ними в Лондон инспектора Сюртэ Юлье. Продавец фирмы «Цванцигер» опознал сундук. Никакого сомнения: он продал его 28 июня коротконогому французу лет примерно пятидесяти, которого сопровождала молодая дама. Да, он прекрасно помнит: у покупателя были необыкновенно большие руки и грубое, бородатое лицо. После этого Горон решил лично направиться в Лондон с остатками оригинала сундука, и 19 декабря он уже был в английской столице. В знаменитом полицейском суде на Боу‑стрит «сундук смерти» был предъявлен продавцу фирмы «Цванцигер» Лаутербаху, а также обоим французским гражданам – месье Шевону и мадам Веспрэ. Все трое подтвердили под присягой, что это сундук Мишеля. И тогда Горон стал допытываться у мадам Веспрэ, была ли она знакома с Мишелем, откуда она его знала и что о нем знала, почему в Лондоне он обратился именно к ней?

Очевидно, мадам Веспрэ имела основание опасаться полиции. Во всяком случае, она выложила все, что знала о Мишеле и его дочери. Что касается дочери, то эту девушку она знала плохо. Впрочем, это определенно была не дочь Мишеля, а его подружка по имени Габриэль Бомпар. Ну а Мишель? О, его она знала намного ближе. Четырнадцать лет тому назад, в Париже, она сама была его подружкой. «Его фамилия? Какова его настоящая фамилия?» – допытывался Горон. Француженка колебалась, но затем выдала и фамилию: Мишель Эйро! В тот же момент Горону, как он говорил впоследствии, открылся «путь к окончательному раскрытию дела Гуффэ». Он вспомнил ту пару из окружения Гуффэ, которая исчезла из Парижа в тот же день, что и сам судебный исполнитель, – Мишель Эйро и Габриэль Бомпар.

Обратно в Париж Горон вернулся 22 декабря, полный решимости поймать убийцу. Еще до наступления рождества один из его агентов сообщил более точные подробности относительно Эйро:

Эйро был авантюристом и мошенником высшей марки. Несмотря на свои пятьдесят шесть лет, безобразную внешность и прикрытую париком плешь, он вплоть до своего исчезновения считался первоклассным героем‑любовником. А его биография?! Он был родом из Сент‑Этьена, но еще ребенком уехал с родителями в Испанию и поэтому бегло говорил по‑испански. Позднее он обучался красильному ремеслу, удрал от своего мастера, потащился с французским экспедиционным корпусом в Мексику, но дезертировал оттуда. После амнистии 1869 г. он решился вернуться во Францию, женился на зажиточной женщине, промотал ее деньги, оставил жену с ребенком и подался в Южную Америку в качестве торговца мануфактурой. В 1882 г. Эйро снова объявился во Франции, обзавелся здесь спиртовым заводом, а затем мошенническим образом объявил о своем банкротстве. После этого он стал совладельцем другой фирмы, которая в свою очередь в июле 1889 г. оказалась на грани банкротства. С 1888 г. его подружкой стала Габриэль Бомпар, уличная девица, сбежавшая из родительского дома, дочь разбогатевшего торговца из Лилля, которая уверяла, что в детстве ее загипнотизировали и под гипнозом изнасиловали. Она была двадцати лет, хорошенькая, испорченная, изолгавшаяся, лишенная всякой совести, готовая на любое злодейство.

В голове Горона уже рисовалась картина преступления. Эйро, полагал он, был знаком с Гуффэ благодаря, видимо, распродаже с торгов его спиртового завода, в проведении которой принимал участие судебный исполнитель. Он определенно знал, что дела Гуффэ процветают, и столь же точно знал, какой ненасытной была страсть Гуффэ к молодым женщинам. Поручил ли он своей любовнице Габриэль выполнить роль приманки для Гуффэ? Устанавливал ли он сундук в пока еще неизвестной подпольной квартире и велел ли Габриэль заманить туда Гуффэ? А может, он умертвил его, надеясь найти ключ к сейфу, а труп поместил в сундук? И возможно, после краха своих планов ему пришло в голову отправить сундук в Лион и выбросить его там в укромном месте на берегу Роны? Вопрос за вопросом! Но Горон чувствовал, что ответ на все эти вопросы один: «да». Да! Он отдал распоряжение искать Эйро и Габриэль Бомпар по их фотографиям. Что касается Эйро, то к началу января 1890 г. Горон уже располагал о нем необходимыми сведениями. Инспектор Гаррэ отыскал покинутую жену Эйро – Лауру Буржуа и нашел у нее несколько фотографий мужа. С ожесточенностью диктовал Горон письма во все французские посольства, миссии и консульства по обе стороны Атлантики, пересылая им фотографии и данные о личности Эйро с просьбой продолжить его розыск через соответствующие полицейские службы в Европе, Северной и Южной Америке. Во французских, а затем вскоре в английских и американских газетах стало появляться все больше новых сообщений о захватывающей охоте на Эйро.

И вот утром 16 января на стол Горона легло письмо, отправленное из Нью‑Йорка 8 января. Прочитав фамилию отправителя, Горон подумал, что это розыгрыш, мистификация со стороны какого‑нибудь психопата. Но, сравнив письмо с образцами, изъятыми его людьми в квартире Эйро, он убедился, что письмо из Нью‑Йорка, без сомнения, написано самим Эйро! Оно насчитывало почти двадцать страниц, полных жалоб на то, что во всем мире его обвиняют в убийстве. А ведь он бежал из Парижа, спасаясь от грозящего ему разорения: Габриэль Бомпар буквально обобрала его. Что же касается Гуффэ, то последний всегда был его другом. Если кто‑нибудь и убил судебного исполнителя, так это Габриэль Бомпар. «Она, – утверждал Эйро, – вполне могла поручить кому‑либо из своих многочисленных любовников покончить с Гуффэ».

Горон был еще занят выяснением мотивов, побудивших Эйро написать столь неожиданное письмо, когда 18 и 20 января он получил очередные послания Эйро из Нью‑Йорка. Правда, самый большой сюрприз был еще впереди. Около полудня 22 января секретарша сообщила Горону о посетительнице, которая ждет в приемной. Ее зовут Габриэль Бомпар.

Разыскиваемая оказалась именно такой, как ее описывали: маленькая, изящная, элегантная. Но черты лица этой двадцатилетней особы искажали следы бурных любовных похождений. «Ее чувственность и испорченность выпирают через кожу», – констатировал Горон. Она пришла не одна, а в сопровождении субъекта, явно принадлежащего к «лучшим кругам прирожденных американцев», который представился как Джордж Герейнджер и тотчас приступил к рассказу. Горон узнал из него, что Герейнджер во время деловой поездки в Ванкувер познакомился с французским бизнесменом по фамилии Ванаэр, которого сопровождала его дочь Берта. Охваченный пламенной страстью к Берте, Герейнджер решился на учреждение совместной с Ванаэром фирмы, а когда тот попросил сопроводить его дочь в Париж, с восторгом согласился. По пути в Париж он сделался возлюбленным Берты и наконец узнал, что Ванаэр – это разыскиваемый через все газеты Эйро и что поездку Герейнджера в Париж он использовал для того, чтобы ликвидировать только что основанную совместную фирму и исчезнуть с капиталом Герейнджера. Понятно, узнал он и о том, что Берта – это в действительности Габриэль Бомпар. Но к тому времени страсть настолько овладела им, что он поверил своей возлюбленной, будто она является только жертвой Эйро. Сам же Эйро – обманщик и убийца. Он убил Гуффэ, а ее, ничего не подозревающую, использовал как приманку для судебного исполнителя. На улице Тронсон‑Дюкудрей в Париже Эйро снял для нее маленькую квартирку. Туда‑то она и пригласила Гуффэ на рандеву 26 июля. А почему бы нет? Почему бы, господи боже, нет? Гуффэ был не единственным, кому она отдавалась по приказу Эйро, чтобы добыть денег, когда у него самого не оставалось больше ни сантима. А раз так, то почему бы и не Гуффэ? Но в вечер, предназначенный для того рандеву, Эйро сообщил ей, будто Гуффэ занят чем‑то другим, так что свидание не состоится, а когда она гораздо позже условленного времени пришла к себе домой, то застала там, кроме Эйро, рыжеволосого мужчину, который сразу же надел сюртук и исчез. Сундук из Лондона стоял в углу спальни. Наутро Эйро предложил ей отправиться в путешествие на юг. Сундук был отправлен по железной дороге. В Лионе Эйро нанял повозку, которой он правил сам, погрузил на нее сундук, и они поехали в направлении Мильери. Там снова появился рыжий незнакомец, который и забрал сундук. Эйро же сообщил, что ему предстоят крупные сделки, и отправился с ней в Америку.

Американец был убежден в невиновности Габриэль Бомпар. Сразу же по прибытии в Париж он уговорил ее явиться в полицию и таким путем самой положить конец всем ошибочным подозрениям в отношении нее. Габриэль Бомпар живо кивала в подтверждение каждого его слова. «Очевидно, – отметил про себя Горон, – она убеждена, что я столь же легковерен, как и ее американский ухажер».

Во всяком случае, у Горона сложилось иное представление о ходе событий. По его мнению, находясь, в Америке, Габриэль Бомпар поняла, что пора отмежеваться от Эйро и спасать собственную шкуру. Она использовала американца, чтобы найти внушающий доверие путь к Сюртэ и к «чистосердечному признанию». А Эйро между тем писал свои письма, чтобы опередить это «признание». На глазах растерянного американца Горон приказал арестовать Габриэль Бомпар и «прожарить ее в его прославленной кухмистерской». Он заставлял ее голодать, допрашивал день и ночь, подсаживал к ней в камеру провокаторшу. Он велел препроводить ее на улицу Тронсон‑Дюкудрей. Квартирная хозяйка сразу же узнала арестованную, вспомнила она и о большом сундуке. Вспомнила и день 26 июля, но категорически отрицала, что в тот день Габриэль Бомпар поздно вернулась домой. Больше того, она встретила тогда одного господина, который по описанию внешности очень напоминал Гуффэ. Но самое главное:

25 июля Габриэль побывала у соседа‑слесаря, чтобы заказать новые, более крепкие обручи для сундука. Габриэль Бомпар снова врала с той неутомимостью, которая свойственна только патологическим лгуньям. Но к началу февраля Горон по кусочкам вырвал у нее правду. Конечно, как созналась она в конце концов, Эйро решил ограбить Гуффэ и она знала об этом. Но тем не менее она была только его орудием. Изголовье софы в ее квартире граничило с альковом, который был закрыт занавесом. Эйро привинтил железное кольцо к потолочным балкам и протянул сквозь него веревку, на конце которой был крючок. Сам он спрятался вечером 26 июля за занавесом в то время, как она встречала Гуффэ, «уже дрожащего от страсти». Едва прикрытая пеньюаром, стянутым шнурком, она забралась к Гуффэ на софу, развязала шнурок и, ласкаясь к нему, обвила шнурком шею Гуффэ. Эйро воспользовался этим моментом, чтобы прикрепить оба конца шнурка к крючку на веревке и затянуть шнурок. Но Гуффэ стал кричать. Тогда Эйро схватил его за шею и задушил собственными руками – именно так, как и предполагал Лакассань. После этого Эйро завернул мертвеца в клеенку, зашнуровал ее и засунул тело в сундук. Трясясь, по ее словам, от ужаса, Габриэль провела несколько часов наедине с мертвецом в той же комнате, в. то время как Эйро пытался ограбить контору Гуффэ. Полный бешенства из‑за своей неудачи, он, вернувшись, избил ее и сразу вслед за тем повалился на нее «без всякого стыда, всего в нескольких шагах от мертвого». Потом последовала транспортировка сундука на вокзал, путешествие в Лион, поездка в Мильери, сбрасывание мертвеца на берегу реки, наконец, вышвыривание обломков сундука – вот и вся история. Еще трижды ездил с ней Горон на улицу Тронсон‑Дюкудрей. Там он обнаружил в потолочных балках части веревки, которой воспользовался Эйро.

С момента ареста Габриэль Бомпар весь Париж был охвачен лихорадкой сенсации, Целые семьи – дедушки и бабушки, родители и дети устремились на улицу Тронсон‑Дюкудрей, чтобы увидеть «дом убийства». Когда 7 февраля следственный судья Допфэ направил арестованную под конвоем двух инспекторов в Лион для проведения с ее участием осмотра места проишествия, они вынуждены были прибегнуть к помощи кавалерии, чтобы протиснуться сквозь людское море. Среди этих людей находились даже такие, которые движимые нередко встречающимся извращенным восхищением перед женщинами‑убийцами – бросали Габриэль Бомпар цветы.

К 10 февраля следствие подошло к концу. Горон более не сомневался, что он досконально знает историю убийства Гуффэ, за одним, правда, исключением. Он был убежден, что Габриэль Бомпар была не принужденной к сотрудничеству жертвой, а сознательным соучастником преступления.

Во второй раз разослал Горон розыскные ходатайства во все французские представительства за океаном. Эти ходатайства еще не дошли до адресатов, когда Эйро вновь отозвался сам. Признание Габриэль Бомпар побудило его послать в «Энтрансижан» свои возражения, опубликование которых привело к новому взрыву истерии вокруг дела Гуффэ. Написанные на ужасном французском, продиктованные жаждой мести, фантастические до абсурда сообщения Эйро сваливали всю вину на Габриэль Бомпар и ее таинственного любовника. Единственное, что еще интересовало Горона в его посланиях, – это место, где они были сданы на почту.

В один из тех дней, когда «Энтрансижан» печатала последние части возражений Эйро, примерно 19 мая, Эйро был опознан в Гаване (Куба) одним из живущих там французов. На следующий вечер кубинская полиция арестовала его в тот момент, когда он покидал публичный дом. А уже 24 мая инспекторы Судэ и Гайяр плыли на почтовом пароходе «Бургонь» в направлении Гаваны, чтобы доставить Эйро оттуда в Париж. Когда же почтовое судно «Лафайет», на котором инспекторы с арестованным пересекли Атлантику в обратном направлении, прибыло 30 июня в Сен‑Назер, на набережной его ожидала несметная толпа людей. Один мужчина даже принес с собой попугая, беспрерывно выкрикивающего фамилию Эйро. Журналисты висели на ступеньках поезда, везшего Эйро в Париж.

В эти же дни какие‑то продувные дельцы арендовали дом на улице Тронсон‑Дюкудрей, чтобы составить себе капиталец на демонстрации комнаты, в которой произошло убийство. Это был разгул самых темных и непостижимых инстинктов!

Наконец 16 декабря 1890 г. начался последний, самый бурный, еще раз приковавший к себе внимание всей Франции акт – процесс против Эйро и Бомпар в суде присяжных департамента Сена. Положение Эйро с самого начала было безнадежным. Габриэль Бомпар, напротив, играла, как и обычно, роль «без вины виноватой». Она нашла блистательного помощника в лице своего столь же беззастенчивого, сколь и склонного к фантазиям защитника Анри Робера. Он безудержно манипулировал заявлением обвиняемой, будто ее, еще полудитя, обесчестили под гипнозом, и представлял ее как посредника, который и на этот раз принял участие в преступлении лишь потому, что ее довели до гипнотического состояния. Он эксплуатировал расхождения во мнениях, возникшие как раз в те дни в такой специальной области медицины, как невропатология: спор шел о том, можно ли загипнотизировать человека до такой степени, чтобы он в этом состоянии совершил убийство? Невропатологи и гипнотизеры заполнили зал суда и тем самым внесли дополнительный элемент таинственности в заключительный акт этой драмы. 20 декабря спектакль закончился. Было девять часов вечера, когда председательствующий огласил приговор: «Смертная казнь для Эйро, двадцать лет каторги – для Габриэль Бампар». Через десять недель, 2 февраля 1891 г., голова Эйро пала с плеч на гильотине парижского судебного палача Дебле. А в это время торговцы продавали публике на бульварах маленькие сундучки с «трупом» внутри, отлитым из свинца. На сундучке стояла надпись: «Дело Гуффэ».

**5**

*1882 г. Деревушка Тиса‑Эслар в Венгрии. Исчезновение Эстер Шоймоши 1 апреля 1882 г. Обвинение еврейской общины деревни в «ритуальном убийстве христианской девушки». Арест Шварца, Баксбаума, Вольнера, Шарфа и других. Австро‑Венгрия раскололась на два лагеря. 18 июня 1882 г. – обнаружение трупа неизвестной женщины на берегу Тиссы. Не идет ли речь об Эстер Шоймоши? Первое вскрытие. Эксгумация и второе вскрытие 7 декабря 1882 г.*

Дело Гуффэ привлекло внимание общественности к пионерам судебной медицины и показало значение этой новой науки. Но оно не было единственным делом такого рода. Еще в 1882 г. состоялся сенсационный процесс, который расколол население австро‑венгерской монархии на два враждующих лагеря и привлек внимание к другой колыбели судебной медицины – к Австро‑Венгрии.

Ареной событий на этот раз стала маленькая венгерская деревушка Тиса‑Эслар в области Саболеш, расположенная на берегу Тиссы неподалеку от Ньиредьхазы. Тиса‑Эслар делилась на три части: «новую деревню» – Уйфалу, «словацкую деревню» – Тотфалу, и «старую деревню» – Орфалу. Население ее состояло из христиан (католиков и протестантов) и евреев.

На пасху, 1 апреля 1882 г., четырнадцатилетняя домработница‑христианка Эстер Шоймоши вышла из дома своей хозяйки в Уйфалу и направилась в Тотфалу купить у торговца Кольмайера краску. Покупку Эстер сделала. На обратном пути домой ее видела ее старшая сестра София. Но в Уйфалу Эстер так и не вернулась. Хозяйка Эстер, ее мать – вдова Шоймоши и родственники искали Эстер до самого вечера, но не обнаружили никаких ее следов. Пробегая мимо синагоги, мать Эстер встретила служителя этого храма Йозефа Шарфа с женой. Вдова плакала, Шарф пытался ее утешить: Эстер, говорил он, обязательно вернется. Вот, несколько лет назад из деревни Нанаш тоже исчез ребенок. Тогда обвиняли евреев, что они якобы убили ребенка, а он всего лишь заблудился в степи и вернулся к матери целым и невредимым.

Когда же и 8 апреля Эстер все еще не вернулась, полицейский комиссар из Надьфалы Речки объявил розыски по всей округе, но и они оказались безрезультатными. В начале мая по деревне поползли первые слухи, по которым Самуэль Шарф, пятилетний сын синагогального служки, будто бы рассказал: «Отец зазвал Эстер в дом, вымыл ее и повел в храм, где резник ее заколол. Я и мой брат Мориц видели, как кровь стекала в тарелку…»

Так никогда и не выяснилось, каким образом возник этот слух. Уезд, в который входила деревня Тиса‑Эслар, представлял в венском парламенте депутат Оноди – ярый антисемит венгерского покроя. Он любил повторять одно из самых злобных измышлений, порожденных средневековьем для обоснования тогдашних еврейских погромов, о том, что евреи нуждаются для своих ритуальных целей в христианской крови и потому умерщвляют христианских детей, чтобы на их крови готовить тесто для мацы.

Скорее всего, вдова Шоймоши вспомнила, как 1 апреля Йозеф Шарф говорил с ней о заблудившемся ребенке из Нанаша, ответственность за исчезновение которого пытались свалить на евреев. У этой столь же ограниченной, сколь и мнительной женщины родилось подозрение: должно быть, у Шарфа была нечиста совесть, раз он заговорил с ней о той истории, когда евреев обвинили в злодеянии. Она сообщила о словах Шарфа полицейскому комиссару Речки, а тот в свою очередь передал их Оноди. Депутат же попросил некоторые семьи в Тиса‑Эсларе выпытать все что можно у Самуэля Шарфа, завлечь его сладостями и вложить в уста пятилетнего ребенка слова, значение которых он просто не в состоянии был понять.

Как бы то ни было, а 19 мая в Тиса‑Эслар из Ньиредьхазы прибыли следственный судья Бари с писарем Пижеем, полицейские комиссары Речки и Пай, а также несколько их подручных – конных полицейских, чтобы начать следствие по делу об исчезнувшей девушке. Бари, ограниченный, склонный к насилию карьерист и последователь Оноди, уже заранее был твердо убежден, что именно евреи умертвили Эстер Шоймоши и его главная задача – вывести их на чистую воду. Он опросил маленького Самуэля Шарфа и запротоколировал показания, которые якобы (или на самом деле) дал безудержно фантазирующий малыш.

Истории, которые рассказывал ребенок, были до того противоречивы, что будь это не Бари, а другой следственный судья, он вряд ли стал бы продолжать расследование, основываясь на таких «уликах». Бари же приказал доставить Йозефа Шарфа и его четырнадцатилетнего сына Морица в так называемый «замок Каллаи» в Тиса‑Эсларе, где он устроил свою «штаб‑квартиру».

Йозеф Шарф, сравнительно образованный человек, объяснил, что все сказанное Самуэлем – плод детской фантазии, умышленно введенной в заблуждение. Мориц также отрицал, что видел какое‑либо из событий, описанных его младшим братом. Но Бари, тем чутьем к человеческим слабостям, которое обычно присуще многим тупым натурам, уловил неустойчивый в своей основе, легко поддающийся влияниям психопатический характер Морица. 21 мая он передал Морица писарю Пижею и полицейскому комиссару Речки. Им предписывалось изолировать его от родителей и перевезти в Ньиредьхазу, чтобы там «получить от него сколько‑нибудь пригодное признание». По пути решили переночевать в доме Речки в Надьфале, где и заперли Морица в темный чулан, угрожая, что он проведет там остаток своей жизни, если только не сознается, что был свидетелем умерщвления Эстер Шоймоши. Если же он сознается, ему ничего не будет. В конце концов к полуночи его довели до такого состояния, что он был готов дать любые показания, которые от него потребуют. Служанка в доме Речки, оказавшаяся очевидцем происшествия, рассказала об этом некоторым соседям. За это по приказу Речки ее пороли до тех пор, пока она не поклялась, что больше не проронит ни слова о том, что случилось в ночь с 21 на 22 мая.

В ту же ночь Пижей послал кого‑то из своих подручных в Тиса‑Эслар, чтобы срочно известить следственного судью Бари о готовности Морица дать показания. На рассвете Бари прибыл в Надьфалу и с удовлетворением занес в протокол признание Морица Шарфа, которое гласило: «Мой отец, синагогальный служитель Йозеф Шарф, зазвал Эстер Шоймоши с улицы в дом. Живущий у нас нищий еврей Вольнер повел ее в синагогу, повалил там на землю и раздел до сорочки. При этом, кроме моего отца и Вольнера, присутствовали резники Шварц, Буксбаум и Браун, а также Адольф Юнгер, Абрахам Браун, Самуэль Лустиг, Лазарь Вайсштейн и Эмануэль Тауб. Браун и Буксбаум держали Эстер, а резник Шварц перерезал ей ножом горло. Кровь стекала в горшок. Я смотрел через замочную скважину и мог все это видеть и слышать… Эстер Шоймоши, которую я знал давно, несла в руках завернутый в старый желтый платочек галицкий камень (краску, которую девушка перед этим купила)… Мой брат Самуэль не видел ничего. Это я ему все рассказал…»

Бари сам был настолько убежден в существовании кровавого еврейского ритуала, что счел вполне достоверным все то, что описал Мориц. Он велел доставить паренька в Ньиредьхазу и поместить в доме тамошнего тюремного стражника Гентера, которого обязал изолировать Морица от окружающих и каждый день напоминать ему о том, что он тут же попадет в тюрьму, если осмелится изменить свои показания. После этого Бари в различных местах уезда арестовал всех, кого назвал Мориц.

Они уверяли, что не знают ничего об этих якобы имевших место событиях. Шварц, Буксбаум и Браун приехали в Тиса‑Эслар 31 марта, чтобы попытаться устроиться на освободившуюся там должность резника. Утром 1 апреля они посетили богослужение, длившееся до 10 часов утра, после чего покинули синагогу и больше туда не входили. Вольнер был нищим, который 31 марта случайно нашел кров в доме Шарфа. Переночевав, он тоже посетил утром богослужение и поплелся дальше. Йозеф Шарф также находился в синагоге во время богослужения, а затем отправился домой. Там в 12 часов он отобедал с тремя своими сыновьями, в том числе с Самуэлем и Морицем. По окончании богослужения он лично запер синагогу, и больше туда никто не входил. Шарф упорно отказывался верить, что Мориц действительно дал показания, с которыми его ознакомили. Остальные арестованные также показывали, что сразу после окончания богослужения пошли домой, а это было, как известно, в то время, когда Эстер Шоймоши еще находилась на пути к Тотфалу. Члены их семей подтвердили эти показания, но Бари не принял этого во внимание.

Ввиду широко распространенного в тогдашней Австро‑Венгрии антисемитизма уже первые сообщения из Тиса‑Эслара упали на подготовленную почву. Газеты были полны сообщений и комментариев. По всей стране евреи подвергались жестокому обращению, еврейские дома – разграблению, прислуга из христиан покидала еврейские дома из опасения быть убитыми. Бари получал бесчисленные послания, укреплявшие его в сознании своей правоты. Незнакомые лица пересылали ему мнимые еврейские рецепты того, как «наилучшим образом приготовить еду с кровью христианских девиц». Бари подшивал эти рецепты к материалам расследования. Его подручные перерыли участок вокруг синагоги, взломали подвалы в домах всех арестованных, даже разбили в поисках трупа Эстер Шоймоши находящиеся там винные бочки.

Вот как обстояли дела, когда 18 июня 1882 г. произошло событие, затмившее своей сенсационностью все ранее случившееся. В предобеденную пору этого ужасно жаркого июньского дня полевой сторож деревни Тиса‑Дада вытащил из Тиссы труп девушки. В левой руке погибшей был крепко зажат платок, в который была завернута светло‑голубая краска. Полевой сторож, как и все, знал, что Эстер Шоймоши в день своего исчезновения покупала краску. Весть о том, что Эстер нашли, но на ее шее вет никаких порезов, распространилась быстро.

Бари помчался в Тиса‑Даду. Если эта покойница действительно Эстер Шоймоши, если на мертвом теле не будет обнаружено никаких повреждений, все возведенное им здание обвинения рухнет как карточный домик. Он велел доставить в Тиса‑Даду мать девушки и всех ее соседей и родственников. Вдова Шоймоши подтвердила, что на покойнице такое же платье, какое было на Эстер. Но к облегчению Бари, она заявила, что покойная не может быть ее дочерью. Свое мнение она ничем не обосновала, но Бари ее об этом и не спрашивал. Некоторые соседи согласились с ней. Другие же показали, что, по их мнению, это Эстер. 19 июня Бари направил к месту обнаружения трупа хирургов Трайтлера и Киша, а также кандидата на врачебную должность Хорвата. Им было поручено установить, является ли покойная вообще девушкой четырнадцати лет и могла ли она пролежать в воде с 1 апреля, то есть со дня исчезновения Эстер Шоймоши.

Трайтлер и Киш были практикующими в сельской местности врачами, которым не часто приходилось вскрывать трупы. А Хорват еще даже не закончил медицинского образования. 20 июня они представили следственному судье свой протокол. По существу, он содержал следующие выводы:

1) относительно покойной речь с определенностью идет «об индивиде, достигшем по меньшей мере восемнадцати, а более вероятно – двадцати лет от роду». Доказательством тому служило «общее развитие тела, состояние зубов и тот факт, что срослись передние швы лобной кости»;

2) половые органы покойной настолько расширены, как если бы она очень часто совокуплялась с мужчинами;

3) «найденная» могла умереть самое большее десять дней назад: ее кожа бела, нет никаких следов гниения, внутренности хорошо сохранились;

4) сердце и вены покойной совершенно обескровлены – она умерла от потери крови;

5) кожа покойной очень нежная, особенно кожа рук и ног. Ногти также выглядят весьма ухоженными. Покойная никогда не ходила босиком, больше того – ее ноги всегда были обуты, и она, несомненно, принадлежала к людям, не занимающимся никакой тяжелой работой.

Ни один из этих выводов не подходил к Эстер Шоймоши. Ей было всего четырнадцать лет, она не страдала малокровием, не имела половых сношений с мужчинами, у нее были загорелая кожа и привычные к труду руки, и она всегда ходила босиком. Кроме того, исчезла она не десять дней, а более двух с половиной месяцев тому назад.

Бари увидел в этом подтверждение правильности своих действий. Однако этого ему было мало. Присущие ему подозрительность и ненависть к евреям заставили его предположить наличие связи между обнаружением трупа и тиса‑эсларскими евреями. Тот факт, что утопленница была в платье Эстер Шоймоши, сжимала в руке ее платок с краской, возбудил в нем подозрение, что друзья арестованных специально «нарядили» чей‑то труп, чтобы создать впечатление, будто Эстер утонула, и таким путем спасти своих единоверцев от обвинения в убийстве. Его подозрения окрепли, как только он подучил написанное каким‑то неизвестным, которому, очевидно, пришла в голову такая же мысль, анонимное письмо. В этом письме сплавщик леса по Тиссе еврей Янкель Смилович обвинялся в том, что он участвовал в подбрасывании неизвестного трупа. Автор письма утверждал, что идея подбросить труп исходила от Амзеля Фогеля из Тиса‑Эслар. Двое каких‑то евреев будто бы привезли труп в вагоне на станцию Тиса‑Сент‑Мартон и передали его Смиловичу. Другой же сплавщик – еврей Давид Гершко – переправил его затем под своим плотом в Тиса‑Эслар. Там неизвестная еврейка принесла платье, такое же, какое носила Эстер, и узелок с краской. Труп был переодет при помощи еще одного сплавщика – подкупленного венгра по имени Игнац Матей. Бари велел арестовать Фогеля, Смиловича, Гершко и доставить их в «замок Каллаи». Все они отрицали свою вину. В ответ на это полицейский комиссар заставил Фогеля литрами пить холодную воду до тех пор, пока он не скорчился от боли. Затем его заставили бегать по кругу до тех пор, пока он не свалился. В конце концов он признался во всем, что от него требовали. Признался и Смилович – из страха, что и его будут также мучить. Но поскольку он был не в состоянии назвать имена тех двух евреев, которые якобы передали ему чужую покойницу на станции Тиса‑Сент‑Мартон, то еврейских жителей Тиса‑Эслара заставили выстроиться в шеренги перед муниципалитетом и Бари потребовал от Смиловича показать среди них обоих неизвестных. Перепуганный Смилович показал на тех, кто стоял в самом начале шеренги, – Мартина Гросса и Игнаца Клейна. Их избили и заставили пить воду, пока они не закричали: «Прикажите, что я должен сказать, я все скажу!»

Гершко после избиения заставили подписать протокол, составленный на венгерском языке, которого он не понимал. Матей, единственный из названных анонимом, избежал ареста, но зато получил столько ударов по пяткам, что признался, будто оказывал помощь при переодевании неизвестной покойницы. Когда арестованных переводили в тюрьму Ньиредьхазы, депутат Оноди сказал тюремным стражникам: «Прогоните этих еврейских ублюдков перед моей усадьбой, чтобы моя жена и слуги потешились».

Дальнейший ход этого дела привел к дикому разгулу страстей и ожесточенным дискуссиям далеко за пределами Австро‑Венгрии. Тиса‑эсларское дело стало предметом парламентских дебатов в Будапеште и Вене. Прокуратура в Будапеште не видела иного выхода, как назначить перепроверку всего дела под ее контролем, которая была поручена прокурору Сейферту. Одновременно с этим несколько наиболее известных венгерских адвокатов, в том числе и депутат имперского парламента Карл фон Этвёш, предложили свои услуги для защиты интересов арестованных.

Когда в октябре 1882 г. Этвёш закончил изучение материалов дела и поговорил с некоторыми арестованными, он пришел к убеждению, что никаких доказательств «убийства в синагоге» нет и что все это дело построено на слухах, предвзятости, бесчестности и расовой ненависти, при полном отсутствии каких‑либо правовых оснований. Кем являлся, по сути дела, основной свидетель Мориц? Не заслуживающим доверия психопатическим ребенком, которому внушили его показания. Что представляли собой признания арестованных? Ничего. Каждый из обвиняемых опроверг бы их, как только его избавили бы от истязателя Бари. Особое внимание Этвёш уделил покойнице, выловленной из Тиссы. Он прочитал протокол, составленный Трайтлером, Кишем и Хорватом. А так как он провел немало процессов в Будапеште и еще больше их наблюдал, то был знаком и с пионерами венгерской судебной медицины, получившими свои первые познания в этой области во Франции. Их звали Айтаи и Бэлки. Но Этвёш очень часто бывал и в Вене, где в прошлом году как раз стал свидетелем того, как под руководством профессора Эдуарда фон Гофмана венская школа судебной медицины получила заслуженное признание. Гофман произвел большую сенсацию, сумев опознать среди полностью обгоревших жертв пожара в венском Ринг‑театре большое число погибших по их зубам и по особенностям их скелетов. Этвёш, таким образом, имел определенное представление о возможностях судебных медиков. При изучении протокола вскрытия, произведенного в Тиса‑Даде, он пришел к выводу, что оно было проделано крайне непрофессионально. Но если хирурги ошиблись, если найденный труп не был трупом более взрослой девушки или женщины, а был трупом Эстер Шоймоши, – что оставалось тогда от обвинения?

Этвёш заручился в Будапеште обещанием оказать помощь у Йоханнеса Бэлки. Но поскольку тому было всего тридцать два года, Этвёш счел разумным привлечь к делу еще двух патологоанатомов постарше, которые, правда, не являлись судебными медиками, но благодаря своему возрасту и заслугам могли придать больший вес исследованиям Бэлки. 3 ноября 1882 г. Этвёш ходатайствовал перед Бари об эксгумации покойницы из Тиса‑Дады и проведении профессорами из Будапешта нового вскрытия. Бари счел его излишним и отклонил ходатайство. Но совершенно неожиданно для Этвёша его ходатайство поддержал прокурор Сейферт. Этвёш не знал, что еще в процессе изучения материалов дела Сейферт также пришел к выводу, что никаких настоящих доказательств вины арестованных нет, и не снимал обвинение только потому, что возбуждение, охватившее в связи с этим делом всю страну, не оставляло иного выхода. Кроме того, только в публичном судебном процессе он видел возможность противостоять лавине лжи и выдумок.

3 декабря 1882 г. профессорам Шейтхауэру, Микалковичу и Бэлки было поручено эксгумировать покойницу из Тиссы и еще раз исследовать вопрос, не могла ли она быть Эстер Шоймоши?

7 декабря медики прибыли в Тиса‑Даду. А через четыре недели,

8 января 1883 г., они передали прокурору и судье экспертное заключение, которое в основном сводилось к следующему: 1) найденная в реке девушка никоим образом не была старше четырнадцати‑пятнадцати лет; 2) она могла пролежать в водах Тиссы не менее двух‑трех месяцев; 3) хирурги Трайтлер, Киш и кандидат на врачебную должность Хорват ввиду полного незнания вопроса об изменениях кожного покрова у утопленников впали в ошибку, утверждая, что покойная никогда не ходила босиком; 4) не может быть речи о том, что покойная часто вступала в интимную связь с мужчинами; 5) существует абсолютная вероятность того, что в данном случае речь идет ни о ком другом, как об Эстер Шоймоши. К тому же уже давно на территории уезда не пропадал без вести ни один человек, кроме Эстер. Этот факт может лишь укрепить уверенность в том, что девушка, вытащенная из Тиссы, является Эстер, которая вследствие несчастного случая или иных невыясненных обстоятельств могла упасть в воду.

Бари отказался приобщить заключение будапештских медиков к материалам дела. Когда в июне 1883 г. начался процесс по тиса‑эсларскому делу и Сейферт предъявил в судебной палате Ньиредьхазы всем арестованным обвинение в убийстве, пособничестве убийству и подбрасывании трупа с целью введения следствия в заблуждение, Этвёш решил заручиться экспертным заключением высшего судебно‑медицинского авторитета Австрии. И он обратился в Вену к профессору Эдуарду фон Гофману.

**6**

*Экспертиза венского профессора Гофмана. Путь Эдуарда Гофмана. Тиса‑эсларское дело и австро‑венгерская судебная медицина. Заветы Гофмана.*

Эдуарду фон Гофману было в те дни сорок пять лет; это был аристократичный бородатый мужчина, отличавшийся неуемным жизнелюбием и темпераментом.

В том, что в последней четверти XIX века Австро‑Венгрия вслед за Францией заслужила титул «второй колыбели судебной медицины», была в первую очередь заслуга Гофмана. Выросший в чешской части Дунайской монархии, в Праге, он был учеником первых тамошних судебных медиков Машки и Попеля и с 1865 г. читал лекции по судебной патологии в этом городе, имевшем немецкий и чешский университеты. В 1869 г. в возрасте тридцати двух лет он был приглашен профессором судебной патологии в Инсбрук, где застал примитивнейшие условия работы – не было ни собственного помещения для научных занятий, ни собственной учебной аудитории. Положение осложнялось конфронтацией с патологами, не желавшими признать, что криминалистическая сторона патологии представляет собой совершенно самостоятельную сферу. В Инсбурке Гофман начал со всей скрытой в нем энергией бороться с ошибочным убеждением, будто «из наличия любых дельных медицинских познаний само по себе вытекает их применение для судебных нужд». За шесть лет он создал фундамент, на котором его последователи Краттер, Дитрих, Ипсен и Майкснер построили в Инсбрукском университете один из главных учебных центров судебной медицины в Австрии.

Когда в 1875 г. Гофман переехал в Вену на должность профессора судебной медицины, он застал прославленную в первой половине XIX века венскую кафедру судебной медицины совершенно запущенной. В борьбе с венскими патологами он окончательно отвоевал для Института судебной медицины, который уже во время его пребывания был переведен в здание покойницкой при венской общедоступной больнице, право проводить все вскрытия для целей судебного следствия, а также все вскрытия в целях санитарно‑полицейского надзора в Вене в случаях смерти при невыясненных обстоятельствах.

К тому времени, когда в июне 1883 г. он взялся за экспертизу по тиса‑эсларскому делу, рядом с покойницкой общедоступной больницы уже выросло новое здание с большой учебной аудиторией судебной медицины, которой через несколько лет было суждено стать своего рода Меккой для многочисленных студентов из Европы и остального мира.

В научных вопросах Гофман был педантичным человеком, и его лекции зачастую были несколько нудными, ибо он не оперировал ничем, кроме фактов. Поэтому никто не заметил возбуждения, охватившего его 20 июня 1883 г., когда он держал в руках экспертное заключение Трайтлера, Киша и Хорвата, содержащее как раз то, против чего он боролся уже полтора десятилетия, – ошибочную уверенность в том, что любой врач будто бы способен провести судебно‑медицинское обследование. Переданное ему экспертное заключение ужасающим образом воплощало в себе эту ошибку.

И все же не в правилах Гофмана было судить о том, чего он не наблюдал сам. Единственным, на что он мог опереться, были протоколы будапештских профессоров, которые, во всяком случае, отличались чрезвычайной тщательностью и научной точностью. Ошибочность же выводов врачей из Тиса‑Дады была настолько очевидной, их невежество во многих вопросах настолько чудовищным, что Гофману не было нужды убеждаться во всем этом воочию. Ему нужно было лишь обратиться к своему опыту, накопленному при исследовании трупов утопленников в Праге и Вене, чтобы доказать, что экспертное заключение из Тиса‑Дады является сплошным заблуждением, содержащим ошибку за ошибкой, и что эти сельские врачи не обладали даже простейшими познаниями в судебной медицине.

Взять хотя бы вопрос о возрасте утопленницы из Тиссы. Хирурги в Тиса‑Даде опирались в своих выводах на «общее впечатление», беглое обследование зубов и заращение лобного шва. Гофман, как и Лакассань, имел в своем распоряжении минимум сведений по вопросу о возрастных изменениях скелета – эту проблему предстояло разработать лишь в будущем. Но даже того, что он знал, было в этом случае достаточно. Если врачи из Тиса‑Дады утверждали, что заращение лобного шва у покойной являлось признаком ее более старшего возраста, то это только показывало их невежество. Тысячи раз был доказан тот факт, что лобный шов человека срастается уже на втором году жизни. Из состояния зубов – как оно было зарегистрировано будапештскими профессорами – вытекало, что налицо были все постоянные зубы; лишь зубы мудрости у покойной еще не полностью прорезались. Задние коренные зубы, которые появляются между двенадцатым и тринадцатым годом жизни, были у нее вполне развиты. Следовательно, покойница уже перешагнула этот возраст. Так как зубы мудрости появляются обычно где‑то между шестнадцатым и семнадцатым годами жизни, а в данном случае они отсутствовали, то можно было заключить, что покойная еще не достигла указанного возраста. Значит, ее возраст лежал где‑то между двенадцатью и семнадцатью годами. Правда, поскольку было известно, что в отдельных случаях зубы мудрости прорезываются лишь к двадцати четырем – двадцати пяти годам, Гофман не ограничился обследованием только зубов. Он изучил описание всего скелета покойной, точнейшим образом составленное Бэлки. Врачи же из Тиса‑Дады вообще не упоминали о скелете. Согласно опытным данным, в хрящевых частях лопаток детей ядра окостенения образуются лишь по достижении ими четырнадцатилетнего возраста. У утопленницы же их еще не было. Соответственно три части подвздошной кости срастаются лишь между шестнадцатым и восемнадцатым годами жизни. У покойной же они еще не слились в одно целое. Множество других особенностей развития скелета свидетельствовало о том, что возраст покойной явно скорее равнялся тринадцати, чем восемнадцати годам. Что же касается специально отмеченной величины половых органов умершей, то по многочисленным случаям из практики Гофман знал, что вода способна ослабить тканевые части тела настолько, что они намного превышали свои обычные размеры. Гофман пришел к выводу, что в случае утопленницы из Тиса‑Дады речь идет о юной девочке возраста Эстер Шоймоши.

После этого Гофман приступил к проверке утверждения врачей из Тиса‑Дады о том, что покойница будто бы пролежала в воде не более десяти дней. Гофман часто имел дело с трупами утоп‑пенников, которые после целых недель и месяцев пребывания в воде все еще выглядели удивительно сохранившимися. Причем в этих случаях речь всегда шла не о тех трупах, которые, как это часто случается, всплывают через несколько дней после утопления на поверхность воды, а о тех, которые чем‑нибудь задерживались под водой. В то время как утопленники, всплывавшие на поверхность воды, разлагались под воздействием воздуха, с трупами, остававшимися под водой, прежде всего с теми, которые лежали в холодной проточной воде, этого не происходило, вода сохраняла их внутренние органы и придавала белизну их коже. Связь между эпидермисом и лежащим под ним кожным слоем ослаблялась. Через несколько недель поверхностный слой кожи рук и ног поддавался отделению или сам отделялся под воздействием течения. Отпадали довольно большие участки эпидермиса. Из не защищенного кожей тела выходила кровь, и тело становилось абсолютно бескровным.

Именно это и соблазнило тиса‑дадских врачей сделать поражающие по своей некомпетентности выводы. То, что труп не разложился, привело их к выводу, что утопленница умерла не раньше, чем несколько дней назад. Обескровленность трупа привела их к утверждению, что покойная погибла от малокровия, в то время как Эстер Шоймоши всегда была здоровой девушкой. Но самым примечательным был их вывод о том, что покойная при жизни никогда не занималась физическим трудом и никогда не ходила босой, как Эстер, а такая кожа на руках и ногах, а также ногти могли быть только у холеной дамы. Трайтлер, Киш и Хорват дали обмануть себя тонкой, такой нежной на ощупь коже. Ногтевые ложа, на которых уже давно не было никаких ногтей, они приняли за заботливо ухоженные ногти, отсутствие которых сразу же заметили медики из Будапешта. Заканчивая свою экспертизу, Гофман сказал: «Мир судебной медицины имеет свои тайны. Они жаждут своего познания и исследования. События в Тиса‑Даде кажутся мне ярчайшим примером того, какие ошибки грозят правосудию из‑за широко распространенного пренебрежения необходимыми специальными познаниями…»

Когда в июле 1883 г. Гофман передал Карлу фон Этвёшу свое окончательное заключение, он не дерзнул утверждать, что утопленница была Эстер Шоймоши; он писал лишь, что речь идет о юной девушке в возрасте Эстер, пролежавшей в водах Тиссы несколько месяцев. Пока его обширное сочинение своим путем шло в Ньиредьхазу, процесс по тиса‑эсларскому делу, начавшийся 13 июня, был в разгаре.

Зал суда в Ньиредьхазе представлял собой арену трудноописуемой борьбы между разумом и ненавистью, между трезвым суждением и свирепой слепотой. Применявшиеся Бари методы расследования были разоблачены. Писарь Пижей был изобличен как бывший убийца и каторжник. Не оставалось никаких сомнений, что Морица Шарфа склонили ко лжи под угрозой расправы. Ни предубежденность судей, ни слабость председательствовавшего судьи Корниса, ни рев рассвирепевшей публики, ни безудержные нападки депутата Оноди на прокурора Сейферта не помешали разорвать хитросплетения из слухов, лжи и шантажа. Они не смогли воспрепятствовать и тому, чтобы профессора из Будапешта, чья экспертиза первоначально была изъята из материалов дела, выступили в качестве свидетелей как раз в те дни, когда Этвёш уже имел на руках заключение Гофмана. Экспертиза Гофмана с его вескими аргументами стала последним камнем в семичасовой защитительной речи Карла фон Этвёша. 3 августа 1883 г. суд оправдал всех обвиняемых.

Хотя Гофман, выросший в атмосфере терпимости, с удовлетворением приветствовал данный приговор, самым значительным для него оставался все же тот факт, что события в Тиса‑Эсларе подтвердили перед всеми правильность одной из самых главных целей его деятельности: необходимости специального обучения каждого врача, намеревающегося заниматься судебно‑медицинской экспертизой. Гофман, никогда не знавший настоящего отдыха, умер летом 1897 г. в своем поместье Игле от сердечного приступа, немного не дожив до своего шестидесятилетия. Смерть пришла к нему слишком рано. Его цель – не только осуществить, но и закрепить отделение судебной медицины от общей медицины и патологии – не была достигнута. Его же ученик Альбин Габерда показался руководству Венского университета слишком молодым для того, чтобы стать преемником Гофмана. Поэтому на должность Гофмана был приглашен специалист по общей патологии Колиско, и тем самым все вернулось на круги своя. Такое положение просуществовало до тех пор, пока руководство венской школой судебной медицины не перешло в 1916 г. к Альбину Габерде, который предоставил ей выходящее далеко за рамки патологии поле деятельности.

Несмотря ни на что, Гофман остался великой личностью, ибо он не только создал славу венской школе судебной медицины, но и вошел в историю как борец за самостоятельность судебной медицины.

**7**

*Лондон, 1910 г. – начало дела Криппена. Находка в подвале дома на Хиллдроп‑Кресчент. Д‑р Огастес Пеппер. Положение судебной медицины в Англии. Главный патологоанатом Скотланд‑Ярда и министерства внутренних дел. Борьба за идентификацию Коры Криппен. Операционный шов. В дело вступает Бернард Спилсбери.*

Октябрем 1910 г. датируется применение новых микроскопических методов получения доказательств по одному необычному уголовному делу – путем обнаружения мельчайших, невидимых простым глазом изменений, происшедших в тканях человеческого организма.

История Хоули Харви Криппена, убившего в ночь на 1 февраля 1910 г. в Лондоне свою жену Кору, содержит все предпосылки для того, чтобы стать классическим примером детективной истории.

Внимание широкой публики привлекло романтически‑авантюрное бегство убийцы с его переодетой мальчиком любовницей, равно как и тот факт, что арестовать Криппена на борту парохода «Монтроуз» удалось благодаря новому тогда открытию – беспроволочному радиотелеграфу. Из‑за такого детективного фасада долгое время почти не замечали того, как сильно повлияло дело Криппена на развитие судебной медицины в Англии.

Началось дело Криппена 30 июня 1910 г., когда мужчина по фамилии Нэш попросил Скотланд‑Ярд заняться судьбой его приятельницы‑актрисы, которая исчезла без следа еще 1 февраля. В артистическом мире она была известна под псевдонимами Кора Тернер или Бель Эльмор. Ее настоящее имя – Кора Криппен. Она была супругой американского врача д‑ра Криппена, который с 1900 г. жил в Лондоне, являясь представителем американской фирмы медицинских патентов «Муньонз‑Ремедиз» и зубоврачебной фирмы «Туз спешиалистс».

История, которую Нэш поведал старшему инспектору Уолтеру Дью, выглядела следующим образом. Криппен занимал небольшой дом в Северном Лондоне по адресу Хиллдроп‑Кресчент, 39. Здесь вечером 31 января он и Кора принимали своих друзей – артистов Мартинелли. Мартинелли распрощались с хозяевами около половины второго ночи. И с тех пор Кора Криппен исчезла. Нэш охарактеризовал ее как веселую, здоровую женщину не старше 35 лет.

3 февраля в ансамбль «Мюзик‑холл Лэдис Гулд» поступили два подписанных ее именем письма. В них Кора сообщала, что ввиду болезни она вынуждена уехать к близким родственникам в Калифорнию. Письма были написаны не рукой Коры. Мартинелли и другие друзья Коры обратились к Криппену за более подробными сведениями. Но вместо того, чтобы дать им эти сведения, он появился на балу со своей секретаршей Этель Ли Нив. Все были еще больше шокированы, когда юная дама стала носить меха и драгоценности Коры, а 12 марта и вовсе переехала жить в дом Криппена. Но 24 марта Криппен сообщил друзьям своей жены, что она умерла в Лос‑Анджелесе от воспаления легких.

8 июля старший инспектор Дью направился на Хиллдроп‑Кресчент. Там он обнаружил только Этель Ли Нив – невзрачную, но симпатичную девушку примерно двадцатилетнего возраста. Сам же Криппен работал на Оксфорд‑стрит. Там Дью и нашел его – занятого удалением зубов.

Криппен оказался маленького роста, чуть старше 50 лет от роду мужчиной с выпученными за стеклами очков в золотой оправе глазами и большими усами. Он не выказал ни малейшего удивления, а заявил инспектору: «Я полагаю, что лучше всего рассказать вам правду… Истории, которые я рассказывал о смерти моей жены, не соответствуют действительности. Насколько я осведомлен, она еще жива». Правда, продолжал он, состоит в том, что жена покинула его с одним преуспевающим джентльменом. Историю же ее смерти он придумал лишь затем, чтобы не вызывать насмешек в качестве обманутого мужа.

Криппен с готовностью сообщил об обстоятельствах своей жизни, которые подтвердили и его знакомые: родом Криппен из штата Мичиган, получил диплом врача, стажируясь в Нью‑йоркском офтальмологическом госпитале, затем занимался врачебной практикой в Детройте, Сант‑Яго, Филадельфии, а в 1892 г. женился в Нью‑Йорке на шикарной семнадцатилетней красавице, которая была известна под именами Коры Тернер и Бель Эльмор и чье настоящее имя было Кунигунда Маккамоцки. Кора была наделена «небольшим голосом», но большим пристрастием к театру. Ослепленный любовью, Криппен оплачивал многочисленные уроки пения, которые она брала, и даже переехал в Лондон, ибо Кора полагала, что в британской столице карьеру можно сделать быстрее, чем в Нью‑Йорке. Однако и в Лондоне Кора не смогла пробиться дальше нескольких выступлений в дешевых мюзик‑холлах. Раздражительная по натуре, она сделала Криппена козлом отпущения за свои несбывшиеся мечты, завела целую свиту более или менее сомнительных поклонников и заставила Криппена вести домашнее хозяйство и обслуживать ее гостей. И Криппен ни разу не терял терпения и никогда не заявлял протеста. В последнее время Кора дарила свою благосклонность, по мнению Криппена, американцу по фамилии Миллер.

Такова была предыстория. Криппен провел Дью в свой дом на Хиллдроп‑Кресчент, 39, открыл двери во все помещения и предложил помочь полиции в розысках его жены. Дью остался удовлетворен беседой с Криппеном. Он составил протокол, которым думал закончить дело. Однако во время составления этого протокола ему понадобилось уточнить некоторые данные, но когда 11 июля он заглянул для этого на Оксфорд‑стрит, то узнал, что 9 июля Криппен в страшной спешке покинул Лондон в неизвестном направлении. Дью тотчас поспешил на Хиллдроп‑Кресчент и обнаружил, что дом Криппена пуст. Вместе с Криппеном исчезла и Этель Ли Нив.[[1]](#footnote-1) Лишь теперь у Дью зародились какие‑то подозрения. Он приступил к основательному обыску всего дома и 13 июля обнаружил в полу подвала место, где кирпичный пол был расшатан. Когда же он вынул кирпичи и удалил слой глины, то наткнулся на останки какого‑то тела – кровавое месиво, в котором нельзя было отличить ни головы, ни конечностей, а, пожалуй, лишь остатки деталей одежды, в том числе дамскую нижнюю сорочку.

Инспектор помчался в Скотланд‑Ярд и сообщил о находке Мелвиллу Макнэтену. На следующий день около 11 часов утра на Хиллдроп‑Кресчент появился д‑р Огастес Джозеф Пеппер, хирург и патологоанатом госпиталя Святой Марии, Чтобы исследовать страшную находку.

В 1901 г. Пепперу по делу об убийстве на ферме Моут в графстве Эссекс удалось не только идентифицировать жертву – Камиллу Холэнд, которая три года пролежала в заполненной водой могиле, но и по имевшимся у неё повреждениям установить, что Камилла вопреки утверждению подозреваемого не покончила жизнь самоубийством, а была умерщвлена. Два других громких дела (Дрюса и Деверю) также привлекли внимание общественности. Чистая, тщательная работа Пеппера пробила таким образом первую брешь в традиционной стене недоверия к патологии («бесовской науке»), и в особенности к судебной патологии. В 1908 г. Пеппер ушел с должности главного патологоанатома госпиталя Святой Марии, уступив ее одному из своих учеников – тридцатитрехлетнему Бернарду Спилсбери, но сохранил за собой место главного патологоанатома английского министерства внутренних дел.

Примерно так обстояло дело с развитием судебной медицины в Англии в то утро 14 июля 1910 г., когда Пеппер появился в подвале дома Криппена на Хиллдроп‑Кресчент, чтобы подвергнуть осмотру найденные здесь человеческие останки. Он очень быстро понял, что тут поработал человек, хорошо знакомый с анатомией. Убийца не только отделил голову от туловища, но также извлек из своей жертвы все кости и уничтожил либо спрятал их в другом месте, чтобы сделать невозможной идентификацию тела по скелету. Все части тела, по которым можно было определить пол жертвы, были удалены, исчезли все мускульные части и кожный покров. Пеппер велел со всей осторожностью извлечь останки из земли и перевезти их в морг Ислингтона. 15 июля он предпринял их осмотр, длившийся несколько часов. Между частями тела он обнаружил остатки пижамы, на воротнике которой была фирменная этикетка «Ателье сорочек братьев Джонс Холлоуэй». Эта при данных обстоятельствах о многом говорящая находка вселила в Пеппера надежду, что убийца, несмотря на всю свою осмотрительность, мог допустить и другие оплошности. Из состояния частей тела можно было заключить, что они пролежали под полом подвала не более восьми недель. Внутренние органы, которые можно было распознать (серце, легкие, пищевод, желудок, печень, почки и поджелудочная железа), не несли на себе признаков какого‑либо органического заболевания. Пеппер дал Уилкоксу частицы этих органов для проверки на содержание в них яда. Дальше этого он пока не продвинулся. То, что лежало перед ним, представляло собой не поддающуюся идентификации мешанину мяса, жира, кожи и нескольких волосков. По длине обнаруженных волос и нижней сорочке можно было бы сделать вывод, что речь идет о трупе женщины. Но такого рода выводы не могли служить доказательствами.

Между тем утром 15 июня руководство дальнейшим расследованием взял на себя Ричард Мьюир, уже известный нам по истории дактилоскопии.

Он ждал результатов со свойственной ему твердостью н непреклонностью. Мьюиру было совершенно ясно, что из «случая Криппена» никогда не получится «дела Криппена», если ему не удастся доказать, что труп, найденный в подвале, действительно является трупом Коры Криппен.

Подруги Коры опознали нижнюю сорочку: она принадлежала Коре Криппен. Но даже это едва ли могло быть доказательством. После полудня 15 июля Пеппер все еще был не в состоянии дать Мьюиру какую‑нибудь надежду на успех. Лишь после долгой, утомительной работы он обнаружил большой лоскут кожи размером примерно 14 на 18 сантиметров, на краю которого еще сохранилось несколько волос, которые выглядели как лобковые волосы. Речь могла идти о лоскуте кожи с нижней части живота. Особый интерес Пеппера возбудило одно специфическое изменение на поверхности кожи. Оно могло быть названо и образованием после смерти складок на коже. Но одна деталь изменений на коже напомнила Пепперу, десятилетиями работавшему хирургом, операционный шрам. Мьюир тотчас же опросил друзей Коры Криппен. В результате выяснилось, что исчезнувшая подверглась в Нью‑Йорке серьезнейшей гинекологической хирургической операции.

Примерно в это же время Скотланд‑Ярд издал циркуляр о розыске Криппена и Этиль Ли Нив с точным описанием их внешности. Этот приказ был доставлен также на все отплывающие суда. Один из его экземпляров попал в руки капитана британского пассажирского парохода «Монтроуз», который 20 июля прибыл в Антверпен, где взял на борт среди прочих некоего мистера Джона Фила Робинсона и его сына Джона. На второй день плавания капитану Кендаллу бросилось в глаза, что младший Джон Робинсон проявляет за общим столом явно женские манеры. Дальше – больше: он пришел к выводу, что своим поведением Робинсоны скорее напоминают влюбленную пару, чем отца с сыном. О своем подозрении он сообщил по радио владельцу судна в Англию. 23 июля старший инспектор Дью и сержант Митчелл поднялись на борт морского экспресса «Лаурентик», а 31 июля настигли «Монтроуз» возле Квебека и арестовали Робинсонов, оказавшихся Криппеном и Этель Ли Нив. Когда 10 августа они вернулись вместе с обоими арестованными, то даже и не подозревали о том, что Пеппер за два дня до этого напал на «патологический след», который должен был привести в конечном итоге к идентификации трупа.

В течение почти трех недель возился Пеппер с лоскутом кожи, привлекшим его внимание 15 июля. Был ли это лоскут кожи с передней стороны лобка? Соответствует ли шрам тем шрамам, которые возникают при операциях подчревной области живота, подобных той, которая была сделана Коре Криппен? Ответить на эти вопросы оказалось настолько трудно, что он обратился за консультацией к своему бывшему ученику Спилсбери. С 1889 г. Спилсбери по рекомендации Пеппера посвятил себя исследованию микроскопии тканей, и прежде всего проблеме образования рубцов. Рубцеванием тканей как средством идентификации и как доказательством в отношении особо застарелых телесных повреждений занимался еще Девержи. Он предложил, например, тереть или поколачивать старые участки кожи, на которых больше не заметны прежние рубцы, до тех пор, пока рубцы не выступят как бледные участки на покрасневшей коже. Он также занимался вопросом о различии между шрамами, образовавшимися вследствие болезни, и шрамами от причинения телесных повреждений.

Но лишь с введением усовершенствованных гистологических методов появилась возможность для более основательных выводов. Эта область исследования переживала еще свое детство, когда Пеппер и Спилсбери изучали кусок кожи из подвала дома Криппена. Предположительная идентификация волос на этой коже в качестве лобковых все же не говорила ничего определенного о месте расположения этого куска кожи на теле. Можно было считать доказанным только то, что на коже имелась мускульная и сухожильная ткань, характерная для брюшной стенки живота между половым органом и пупком. В первую очередь речь шла о ректус‑мускуле брюшной стенки, о некоторых расширенных сухожилиях, или апоневрозах, а также о меньших мускулах, связанных с ректус‑мускулом. В ходе многодневных препарирований, изучения имеющегося материала под микроскопом и сравнения его со срезами нормальной брюшной стенки Спилсбери смог доказать, что данный лоскут кожи покрывал среднюю часть подчревной области живота. Но это вновь выдвигало на первый план проблему шрама. На первый взгляд речь здесь шла о подковообразном изменении поверхности кожи. Однако исследование среза ткани со шрама под микроскопом показало, что обе «ножки» этого подковообразного изменения кожи по природе своей очень разнятся.

Применительно к одной речь явно шла о явлении, возникшем вследствие сморщивания кожи во время лежания в подвале. Кожа внутри такого сморщивания имела столь же нормальную структуру, как и кожа вокруг него. Видны были корешки волос и прежде всего сальные железы, в то время как на операционных шрамах их никогда не бывает, ибо там образуется плотная, лишенная волос и желез ткань. Контур, возникший на коже вокруг исследуемой части, полностью соответствовал узору ткани на нижней сорочке Коры Криппен. Она была, видимо, защемлена в складке кожи, и таким образом ее узор был перенесен на кожу. Целиком и полностью отличной от этого была другая, десятисантиметровая «ножка» подковообразного изменения кожи. Она представляла собой твердую светло‑окрашенную узкую полосу, которая несколько расширялась книзу. Такое расширение часто наблюдается на операционных шрамах, которые проходят от пупка вниз; направленное также вниз давление внутренностей часто приводит к расширению нижней части шрама. Доказывалось же наличие операционного шрама следующим образом: под микроскопом любое поперечное сечение кожи, кроме поверхности самого шрама, содержало нормальные волосяные мешочки и сальные железы. Отсутствие этих мешочков и желез было характерным признаком хирургического рассечения кожи и последующего образования рубцовой ткани, в которой нет ни волосяных мешочков, ни желез. Лишь в одном фрагменте шрама Спилсбери обнаружил под микроскопом остатки желез и малых жировых частиц. Но Пеппер как опытный хирург знал, что при зашивании операционных ран самый верхний слой кожи зачастую загибается и что тогда этот самый верхний слой с остатками желез часто врастает в шов. Он знал также, что в многочисленных случаях образования шва отверстия от иголки при зашивании операционной раны со временем полностью исчезали или после них оставались лишь слабые следы. Фактически Спилсбери и обнаружил под микроскопом лишь крошечные их приметы. К 15 сентября после почти восьминедельных трудов Пеппер и Спилсбери пришли к убеждению, что лоскут кожи, который они исследовали, относится к нижней брюшной стенке и что шов на нем по положению и характеру разреза совпадал с теми, которые обычно образуются при хирургическом удалении частей больных женских половых органов. Пока Пеппер и Спилсбери путем утомительной кропотливой работы шли к этим выводам, Уилкокс и его помощник Лафф тоже не сидели сложа руки. Методами, которыми нам предстоит заняться при ознакомлении с токсикологией, Уилкокс 20 августа пришел к выводу, что найденные части трупа содержали смертельную дозу растительного яда гиосцина. Одновременно сотрудники Скотланд‑Ярда установили, что 17 или 18 января Криппен приобрел у фирмы «Льюис энд Бэрроуз» пять гранов гиосцина – количество, которое явно не требовалось ему для работы. Наконец, выяснилось, что Криппен имел две пижамы, подобные найденной с остатками трупа. Фирма «Братья Джонс» поставила Криппену в январе 1909 г. три таких пижамы. 15 сентября цепь улик оказалась замкнутой благодаря взаимодействию судебной медицины и органов расследования. Направление, которое должно было избрать обвинение в лице Ричарда Мьюира и Трейверса Хефри, было ясным, и миллионы людей замерли в ожидании начала процесса против Криппена, назначенного на 18 октября 1910 г.

Адвокат Криппена Артур Ньютон принадлежал к числу самых беспардонных лондонских солиситоров[[2]](#footnote-2) тех дней. Стратегия доказывания, которую, как он предвидел, изберет обвинение, оставляла ему лишь одну линию защиты: утверждать, что части трупа из подвала Криппена не относятся к Коре Криппен, а были закопаны там еще до того, как Криппен арендовал этот дом на Хиллдроп‑Кресчент 21 декабря 1905 г. Ньютон полагался на такую именно тактику защиты Криппена с тем большей уверенностью, что он, как и Альфред А. Тобин, взявший на себя представительство интересов Криппена в суде, разделял широко распространенное пренебрежение к судебной медицине.

Тобин был убежден, что путем столкновения экспертов ему удастся посеять так много сомнений относительно выводов Пеппера и Спилсбери, что присяжные не придадут никакого доказательственного значения идентификации на основе исследований шрама. Благодря этому как он надеялся, была бы уже выиграна важнейшая часть битвы в суде.

Ньютон был знаком с директором института патологии Лондонского госпиталя Хьюбертом Мейтлендом Торнболлом и его бывшим ассистентом Уоллом. Он спросил обоих, не захотят ли они как‑нибудь однажды обозреть пресловутую кожу с пресловутым шрамом Коры Криппен. Возможность для этого он им предоставит. Ньютон знал, что среди патологоанатомов Лондонского госпиталя существует определенное раздражение против ставших знаменитыми их коллег из больницы Святой Марии. Он рассчитывал, что при осмотре кожи Торнболл и Уолл, высказываясь в частном порядке, могли бы оспаривать выводы Пеппера и Спилсбери. А после этого он прижал бы их к ногтю за эти высказывания так, чтобы они не смогли отвертеться, и представил бы их суду в качестве контрэкспертов против Пеппера и Спилсбери.

И вот 9 сентября оба врача осмотрели кожу и шрам на ней. После беглого изучения они сказали Ньютону, что лоскут кожи взят не с брюшной стенки, а с бедра и что пресловутый шрам ни при каких обстоятельствах шрамом быть не может, а является лишь складкой кожи. Под тем предлогом, что их показания послужат лишь доверительной информацией для защиты, Ньютону удалось их уговорить изложить свое мнение в письменном виде. Лишь когда Торнболл понял, что в действительности замыслил Ньютон, ему стала ясна вся поверхностность проведенной им в данном случае работы. За день до начала процесса – 17 октября – он попросил дополнительный срез для микроскопии и с ужасом обнаружил, что ни в коем случае нельзя было заявлять, будто кожа взята с бедра, а его аргументы относительно того, что не может быть и речи о шраме, очень слабы. Но было уже поздно. Он уже связал себя данной адвокату информацией и полагал, что на карту будет поставлена вся его репутация, если только он признается в ошибке.

Когда 18 октября началось слушание дела Криппена, никто еще не знал, что подлинным победителем из него выйдет молодой человек, чья карьера сделает его имя в конечном итоге знакомым каждому англичанину, который читал или слышал о судебной медицине, – Бернард Спилсбери.

19 октября Пеппер, а за ним Спилсбери дали показания на суде в качестве экспертов обвинения. Они демонстрировали при этом законсервированный в формалине лоскут кожи. А 21 октября на том же месте появились Торнболл и Уолл, принужденные оспаривать выводы Пеппера и Спилсбери. Наспех собранные аргументы, представленные ими, сводились к следующему.

1. Данный кусок кожи не относится к нижней части живота. На ней отсутствуют так называемые «inscriptiones tendineae», то есть сухожилия, которые в рассматриваемой области живота связывают большие, проходящие вертикально от груди до таза мускулы у каждого человека. Далее, совсем не просматривается «linea alba», которая должна проходить от груди к лобковой кости через интересующий нас участок кожи. Наконец, не обнаружены некоторые сухожилия, апоневрозы, которые также типичны для нижней области живота.

2. Что касается пресловутого шрама, то о нем в данном случае не может быть и речи. Не обнаружено никаких мест прокола от хирургической иглы. Зато налицо части сальных желез и жировых телец, которых на шрамах не бывает. Поэтому речь в данном случае идет о складке кожи, возникшей вследствие спрессовывания с нижней сорочкой.

Защитник Тобин добавил к этому, что во время исследования останков Пеппер уже знал об операции нижней части живота у Коры. Шрам, который он хотел найти, был не чем иным, как плодом его предвзятого воображения.

В тот момент, когда Тобин выдвигал эти обвинения, он был как никогда уверен в своей правоте. Он был убежден, что все сведется лишь к борьбе мнений, которая не вызовет у присяжных ничего, кроме замешательства. Его уверенность возросла, когда Пеппер, сам отошедший на задний план, заявил, что решающие исследования под микроскопом проводил его ученик Спилсбери, который и будет один держать речь и отвечать на вопросы. Спилсбери? Что значит для присяжных молодой, абсолютно никому не известный человек?

Первый раз 19 октября, а во второй – 21 октября Бернард Спилсбери давал показания перед судом Олд‑Бейли. Тридцати трех лет, высокий, худой, с благообразным, вызывающим симпатию и доверие лицом, он ничем не напоминал человека, проводящего большую часть своего времени в анатомическом театре Среди мертвых. Тщательно одетый, с гвоздикой в петлице, говорящий отчетливым, полнозвучным голосом – таким восприняли его в первый раз судьи, защитники и присяжные.

Когда Тобин охарактеризовал его как ученика Пеппера, который, само собой разумеется, должен присоединиться к Мнению маэстро, он услышал в ответ: «Тот факт, что я работал вместе с д‑ром Пеппером, не имеет никакого отношения к тому мнению, которое я здесь выражаю. А тот факт, что я читал в газетах об операции у Бель Эльмор (Коры Криппен), не повлиял на мои выводы… У меня независимая позиция, и я отвечаю исключительно за мои собственные данные, полученные мною на основе моей личной работы».

Затем на Торнболла и Уолла посыпался удар за ударом. Относительно «inscriptiones tendineae» разве не известно экспертам защиты, что эти сухожилия не пронизывают всю кожу, а расположены, как раз в тех частях мускулов, которые убийца вырезал? A «linea alba»? Торнболл должен был знать, что она показывается только там, где под кожей встречаются определенные связки сухожилий между отдельными частями брюшной мускулатуры. В данном же случае соответствующие куски мускулов вместе с местами прикрепления сухожилий были удалены. А что касается особенно типичных сухожилий, или апоневрозов, которых Торнболл и Уолл не обнаружили, то он охотно покажет им эти апоневрозы на данном лоскуте кожи. Спилсбери поднял сухожилие пинцетом вверх и показал его присяжным.

Судья – лорд Элверстоун – с удивленным лицом подался вперед. Он допытывался у Торнболла, что тот скажет по этому поводу? Торнболл всячески увиливал. Но Элверстоун был безжалостен: «Прошу вас четко ответить на мой вопрос: видите вы там сухожилие или вы его не видите» В безвыходном положении Торнболл ответил: «Да».

В столь же безвыходной ситуации оказался и Уолл, который вынужден был изменить свое мнение о происхождении лоскута кожи. «Теперь мое мнение таково, – заявил он тихо, – что он может относиться к коже живота».

Правда, и после этой первой встречи со Спилсбери Торнболл и Уолл все еще отказывались признать, что на лоскуте кожи действительно имеется шрам. Спилсбери отвечал на это хладнокровно и невозмутимо: «У меня есть при себе все микроскопические срезы, и я велю тотчас принести сюда микроскоп».

Принесли микроскоп, и Спилсбери объяснил присяжным, собравшимся возле него, каждый срез с ткани рубца, показывал им расположение волосяных мешочков и сальных желез, сделал им понятной миграцию отдельных остатков желез по ходу хирургического шва. Торнболл исчерпал все аргументы. Тогда он прибегнул к личным нападкам – вроде того, что не следует полагаться на молодых людей, не обладающих еще достаточным опытом работы с микроскопом. Но Мьюир при всеобщем одобрении заставил его замолчать, сказав: «Мы говорим не о тех людях, которые ничего не понимают в микроскопии, а о таких людях, как мистер Спилсбери».

22 октября, посовещавшись лишь 27 минут, присяжные вынесли свой вердикт: «Виновен».

Четыре недели спустя – 23 ноября – Криппен был повешен. Но метод доказывания, использованный Спилсбери, дал материал не только для броских заголовков британской прессы. В Англии он послужил поворотным пунктом в отношении общественного мнения к судебной патологии. Спилсбери и процесс Криппена довершили в этом отношении то, что было начато Пеппером. а поворот общественного мнения ознаменовал начало нового периода развития судебной патологии, который почти три десятилетия был связан с именем Бернарда Спилсбери.

**8**

*Лондон, январь 1915 г. Артур Фаулер Нил и раскрытие дела Джорджа Джозефа Смита. Судебно‑медицинская проблематика смерти в воде. Методы ее констатации, существовавшие до первой мировой войны. 13 июля 1912 г. – смерть Бесси Уильяме в ванне. 12 декабря 1913 г. – смерть Элис Смит в ванне. 18 декабря 1914 г. – смерть Маргарет Элизабет Ллойд в ванне. Арест Смита. Эксгумация умерших, осуществленная Спилсбери. Смерть от утопления без внешних признаков насилия. Разгадка, предложенная Спилсбери. Эксперименты Нила. Смит осужден к смертной казни. Дальнейшие исследования вопроса разграничения случаев насильственного и ненасильственного утопления.*

Менее чем через пять лет, в один январский вечер 1915 г. инспектор Артур Фаулер Нил просматривал сообщения, которые ежевечерне поступали из центрального диспетчерского пункта в Скотланд‑Ярде на полицейские посты в различных частях Лондона. Нил в то время нес службу в районе Кентиштаун.

Среди сообщений оказался листок с надписью: «Подозрительные случаи смерти. К вашему сведению». К нему были прикреплены вырезки из ряда газет. Одна из них была из широко распространенного еженедельника «Ньюс оф зе Уорлд». В ней говорилось: «Коронером[[3]](#footnote-3) в Ислингтоне сегодня расследовались особенно печальные обстоятельства, приведшие к смерти тридцативосьмилетней Маргарет Элизабет Ллойд из Холоуэя. Ее супруг заявил, что они собирались поехать в Ват, но после прибытия в Лондон его жена пожаловалась на головную боль… Он повез ее к врачу. На следующий день, в день ее смерти, она с утра чувствовала себя лучше. Ее муж отправился на прогулку… Он был уверен, что по возвращении застанет ее в их комнате. Не обнаружив там никого, он осведомился у квартирной хозяйки, где его жена. Вдвоем они направились в ванную комнату, где было совершенно темно. Он зажег газовый свет и увидел свою жену захлебнувшейся в ванне, заполненной водой на три четверти… Д‑р Бэйтиз (врач, лечивший умершую) пояснил, что смерть произошла от утопления. Она болела гриппом. Грипп и воздействие горячей ванны, вероятно, привели ее к обмороку…»

Вырезка из газеты датировалась недавним числом. Расследование, о котором она сообщала, имело место 22 декабря 1914 г.; умерла же Маргарет Элизабет Ллойд 18 декабря. Дом по адресу Хайгейт, Бисмарк‑роуд, 14, в котором закончилась ее жизнь, находился на участке Нила.

Вторая газетная вырезка была более ранней. Она относилась к 14 декабря 1913 г. и содержала отчет о ходе коронерского расследования, проведенного в Блэкпуле (на берегу Ирландского моря). В ней сообщалось: «Внезапная смерть молодой женщины. После приступа захлебнулась в горячей воде. Миссис Смит из Портсмута, Кимберли‑роуд, 80… умерла внезапно в пансионе в Блэкпуле. Ее супруг… познакомился с ней три месяца назад и женился шесть недель назад. Оба прибыли в Блэкпул в предыдущую среду и сняли несколько комнат в доме по Риджентс‑Роуд, 16. Во время путешествия жена жаловалась на головную боль. Поскольку после приезда она все еще чувствовала себя недостаточно хорошо, они с мужем обратились к врачу. В ночь с пятницы на субботу она принимала горячую ванну. Муж позвал ее, но не получил ответа. Он вошел в ванную комнату и нашел свою жену лежащей мертвой в воде. Д‑р Биллинг (лечивший миссис Смит) придерживается мнения, что горячая ванна вызвала сердечный приступ или обморок и, находясь в беспомощном состоянии, миссис Смит захлебнулась». Кроме газетных вырезок, инспектор Нил обнаружил письмо из Блэкпула от некоего Джозефа Кросли, владельца пансиона, в котором 12 декабря 1913 г. скончалась миссис Смит. Он случайно, примерно через год, прочитал в «Ньюс оф зе Уорлд» заметку о судьбе Маргарет Элизабет Ллойд и рекомендовал полиции выяснить, нет ли связи между смертью в ванной в Хайгейте и такой же смертью в Блэкпуле.

Сходство обоих происшествий было и в самом деле настолько поразительным, что Нил решил лично разобраться в этом деле. На следующий вечер он направился на Бисмарк‑роуд, 14. Дом принадлежал миссис Блэтч. В его верхнем этаже находилась спальня. Ванная располагалась посредине, между верхним и нижним этажами, у лестницы. 17 декабря 1914 г., как сообщила квартирная хозяйка, Ллойд снял у нее спальню с ванной и с правом пользоваться гостиной. Причем ей бросилось в глаза, что он обстоятельно осмотрел ванную, прежде чем заключить договор о найме. Миссис Блэтч описала Ллойда – среднего роста, худощавый, мускулистый, лет сорока – пятидесяти, с невыразительным лицом и острым взглядом. Вечером 17 декабря Ллойд справлялся насчет врача – его жене, мол, нехорошо.

Миссис Блэтч направила его вместе с женой к доктору Бэйтизу. На следующий день миссис Ллойд почувствовала себя лучше. Перед послеобеденной прогулкой она заказала ванну на вечер. Когда она и ее муж около 7 часов 30 мин. вечера вернулись с прогулки, ванна была готова. Миссис Блэтч пошла на кухню. Позже она слышала плеск воды в ванне. Вскоре после этого из гостиной раздалась игра на фисгармонии. Играть мог только Ллойд, который, очевидно, оставался в гостиной, пока его жена купалась. Еще чуть позднее позвонили в дверь дома. Снаружи стоял Ллойд. Он объяснил, что ходил покупать к ужину несколько помидоров и забыл ключ от входной двери. В заключение он осведомился, в гостиной ли уже его жена. А так как в гостиной никого не было, он поднялся по лестнице. И сейчас же вслед за этим позвал на помощь. Когда миссис Блэтч преодолела ступеньки, Ллойд как раз вытаскивал из ванны верхнюю часть тела своей жены. Он крикнул, чтобы тотчас же позвали доктора Бэйтиза. Но Бэйтиз уже не мог ничем помочь. Миссис Ллойд захлебнулась. Ллойд уладил формальности, связанные с погребением, а затем уехал. Куда? Этого миссис Блэтч не знала.

Нил осмотрел ванную комнату, в которой стояла железная ванна, в нижней своей части имеющая длину 1 м 25 см, а в верхней – 1 м 65 см. Ему показалось странным, что взрослый человек мог утонуть в такой ванне. Затем Нил посетил доктора Бэйтиза, тот подтвердил, что лечил миссис Ллойд. Во время визита к нему она только безучастно сидела, и то, чем она страдает, объяснял ему ее муж. Бэйтиз считал, что ее лихорадит и назначал ей средства против лихорадки. Когда вечером 18 декабря его вызвали к больной, было уже довольно поздно. Нет никакого сомнения, что миссис Ллойд захлебнулась. Когда он прибыл на место, на ее губах было немного белой пены. Наверняка она утонула вследствие наступления беспомощного состояния. Нил осторожно осведомился, не заметил ли доктор каких‑либо следов применения к покойной насилия, на что Бэйтиз ответил отрицательно. Правда, когда он по поручению коронера производил вскрытие, ему бросилась в глаза крошечная ссадина над левым локтем. Но никто не может утверждать, что она возникла в результате применения какого‑то насилия. Она могла явиться и следствием судорожного движения при сердечном приступе, расследование закончилось однозначной констатацией: «Смерть в результате несчастного случая». Ничего большего Бэйтиз сказать не мог. Тем не менее его поразило одно: Ллойд не выказывал никаких намеков на траур и выбрал самый дешевый гроб. Нил попросил, чтобы ему немедля дали знать, если д‑р Бэйтиз услышит что‑нибудь еще от Ллойда или о Ллойде.

Покинув врача, Нил встретил детектива‑сержанта Деннисона. Узнав, что Нил интересуется случаем с Ллойдом, Деннисон захотел кое‑что сообщить. Он знает некую мисс Локкер, которая держит пансион в Хайгейте. Первоначально Ллойд хотел снять жилье у мисс Локкер и осмотрел ее комнаты. Больше всего его интересовала ванна, да, именно ванна. В этой квартире ванна показалась ему сначала слишком маленькой, и он в первую очередь решил убедиться в том, «может ли в ней кто‑либо лежать». Мисс Локкер нашла поведение Ллойда настолько странным, что выпроводила его из дому.

Нил вернулся на свой пост и приказал сотрудникам своего подразделения приступить к поискам Ллойда. Примерно через сутки, 10 января, поступили первые сообщения. В суде по наследственным делам хранилось завещание Маргарет Элизабет Ллойд, урожденной Лофти, которое было составлено пополудни 18 декабря – за три часа до смерти. В нем устанавливалось, что единственным наследником является супруг – Джордж Джозеф Ллойд. В тот же час миссис Ллойд появилась в сопровождении супруга и в сберегательной кассе при почтовом отделении Мазуэлл‑хилл, чтобы закрыть их общий счет. Еще в одном сообщении говорилось, что в начале января Ллойд обратился в контору поверенного У. Т. Дэвиса на Оксбридж‑роуд и передал ему завещание своей умершей жены «для дальнейшего урегулирования».

Двумя днями позже – 12 января – д‑р Бэйтиз попросил инспектора Нила принять его. Он представил Нилу запрос «Йоркшир иншуренс Компани» (Йоркширской страховой компании) из Бристоля. Компания осведомлялась об обстоятельствах смерти миссис Ллойд в результате несчастного случая. Дело в том, что 4 декабря 1914 г. Маргарет Ллойд, тогда еще Маргарет Элизабет Лофти (но уже обрученная с Ллойдом), заключила договор страхования жизни на сумму в 700 фунтов стерлингов, которая в случае ее смерти должна была быть выплачена единственному ее наследнику. Нил попросил врача помедлить с ответом на запрос. Он был уверен, что напал на след необычного случая.

Еще до истечения того же дня он переслал в уголовную полицию Блэкпула доклад о проводимом им расследовании Он приложил к ней вырезку из блэкпулской газеты и просил проверить эти сведения на месте.

Уже 21 января поступил ответ из Блэкпула. Он содержал больше того, на что инспектор отваживался надеяться. Вечером 11 декабря 1913 г. в Блэкпуле в пансионе мистера и миссис Кросли на Риджентс‑роуд остановился Джордж Джозеф Смит из Портсмута со своей двадцатипятилетней, полноватой, но миловидной женой Элис, урожденной Барнхэм. Смит заходил сначала в другой пансион, который держала миссис Марден, но, узнав, что у миссис Марден нет ванной, отказался от ее услуг и направился к чете Кросли. Правда, остановился он них лишь после того, как и тут осмотрел ванну. Она была установлена в бельэтаже, как раз над кухней. В тот же день, ближе к ночи, Смит осведомился у миссис Кросли насчет врача. Он сказал, что его жена неважно чувствует себя после дороги и у нее болит голова. Врач – доктор Джордж Биллинг – при обследовании больной расслышал легкие, но не имеющие серьезного значения шумы в сердце. Он прописал ей немного героина и кофеина. На следующее утро миссис Смит производила впечатление вполне здоровой и долго гуляла вместе со своим мужем. Наконец, в 6 часов вечера она заказала вечернюю ванну. Через два часа супруги Смит отправились в спальню. Чета Кросли оставалась в кухне. Вскоре они заметили на потолке кухни сырое пятно. Пока они обсуждали это необычное явление, зазвенел колокольчик у входа в дом. Снаружи стоял Смит. Он объяснил, что выходил из дому купить яиц на завтрак. Когда же Кросли показали ему пятно на потолке, он помчался по лестнице вверх и сразу же закричал: «Позовите врача… Позовите доктора Биллинга… Он знает ее». Биллинг прибыл через несколько минут. Он застал Смита в ванной удерживающим голову своей жены над водой. Вода доходила ей до груди. Так как жена была довольно тяжелой, Смиту и Биллингу с большим трудом удалось вынуть ее из ванны и уложить на полу. Биллинг не обнаружил никаких следов применения насилия, хотя, по правде говоря, обследованием занимался недолго. Позднее он не смог уже вспомнить, в каком конце» ванны находилась голова покойной. Коронер, которому предстояло разбирать еще и другие случаи смерти, очень торопился. Констатировав «остановку сердца в ванне», он записал, что покойная утонула в «результате несчастного случая». Смит успел поспорить с супругами Кросли о размере платы за жилье, а затем исчез.

Доклад о расследовании, проведенном блэкпулской полицией, не содержал сведений о нынешнем местопребывании Смита, зато приводил некоторые примечательные факты о заключении им брака с Элис Барнхэм. Он познакомился с ней в Саутси, Где она в качестве медсестры ухаживала за одним пожилым человеком. Она располагала наличностью в 27 фунтов стерлингов, кроме того было известно, что она в свое время ссудила своему отцу Чарлзу Барнхэму 100 фунтов стерлингов. Через несколько дней после первой встречи, в сентябре 1913 г., Смит обручился

Элис Барнхэм, а 30 октября они поженились в Саутси. За день до свадьбы невеста заключила договоры страхования жизни на 500 фунтов стерлингов, а непосредственно после свадьбы Смит потребовал от Чарлза Барнхэма, своего тестя, возвратить данные ему взаймы 100 фунтов стерлингов вместе процентами. Как велико должно было быть влияние Смита на его жену, свидетельствует то, что та угрожала своему отцу обратиться к адвокату, если он не вернет ей долг. За два дня до свадебного путешествия в Блэкпул Элис Смит составила в Портсмуте завещание в пользу своего мужа. Четырьмя днями позже она лежала мертвой в ванне в доме супругов Кросли.

Инспектор Нил 23 января посетил сэра Чарлза Мэтьюза – директора службы публичного обвинения, и заявил ему, что, по его убеждению, в случаях Ллойда и Смита речь идет об одном и том же лице – мужчине, убивающем по определенной схеме женщин, чтобы завладеть их состоянием.

Мэтьюз возразил: «Мне представляется невероятным, чтобы мужчина умертвил двух женщин в ванне. Ни разу за всю мою жизнь я не слышал о такой смерти». Тем не менее он оставил Нилу свободу действий для дальнейшего расследования и для задержания Ллойда, если он сможет его обнаружить.

Час спустя Нил попросил доктора Бэйтиза дать «Йоркшир иншуренс Компани» не вызывающую подозрений справку о смерти миссис Ллойд. Он рассчитывал, что Смит, или Ллойд (или как он еще там называется), свяжется с поверенным Дэвисом, у которого хранилось завещание его жены, как только узнает, что страховое общество готово с ним рассчитаться. Контора же Дэвиса была взята под наблюдение. И вот 1 февраля 1915 г. ко входу в нее приблизился мужчина, похожий по описанию па Ллойда‑Смита. Нил подошел к нему. Состоялся следующий диалог: «Я инспектор Нил. Вы – Джордж Ллойд?» – «Да». – «тот самый Джордж Ллойд, жена которого в ночь на 18 декабря утонула в ванне дома на Бисмарк‑роуд в Хайгейте?» – «Да». – «Я имею основание предполагать, что вы также Джордж Смит, чья жена в 1913 г. утонула в ванне в Блэкпуле через несколько недель после свадьбы». – «Смит? Я не знаю никакого Смита – моя фамилия не Смит». – «В таком случае я должен арестовать вас за сообщение властям ложных данных о своей личности».

Арестованный резко повернул к Нилу свое угловатое, костлявое лицо и сказал: «О, если вы из‑за этого устраиваете такую серьезную сцену, то в этом случае я могу вам сказать, что я Смит».

Нил был уверен, что видит стоящего перед ним насквозь. Он почувствовал, что убийца опасается разоблачения и потому с такой легкостью признается в меньшем зле. Как бы то ни было, Нил достиг своей первой цели. Ллойд‑Смит очутился под арестом за сообщение ложных данных, а Бернард Спилсбери получил задание «заняться медицинской стороной таинственного случая».

4 февраля Спилсбери поехал на кладбище в Ислингтоне, чтобы участвовать в эксгумации тела Маргарет Элизабет Ллойд, урожденной Лофти. Он должен был попытаться выяснить, утонула ли молодая женщина или ее утопили.

Проблема разграничения «утонувшего» и «утопленного» принадлежит к числу старейших в судебной медицине. Внешними признаками смерти в воде или иной жидкости являются наличие пузыристой пены на губах и у носа, а также гусиной кожи у покойного; к внутренним же признакам относится прежде всего тугое заполнение легких воздухом, так называемая вздутая эмфизема легких, причина, которой все еще является предметом споров. Австрийский исследователь Пальтауф из Праги обнаружил, кроме того, кровавые выделения, экстравазаты, под висцеральной плеврой, которые, очевидно, возникали из‑за разрыва легочной альвеолы. Гортань и большие восходящие ветви бронхов при этом были заполнены пеной.

Но самыми важными представляются три показателя:

1. Вода и другие «жидкости, в которых можно утонуть», проникают на пути к легким в легочные вены, а оттуда – в левый желудочек сердца. Дальше поглощенная жидкость, по‑видимому, не проникает, ибо циркуляция крови в результате смерти прекращается. Но в левом желудочке сердца кровь оказывается разбавленной проникшей в него жидкостью. Если разбавление констатируется, то это не только доказывает факт наступления смерти из‑за того, что жертва захлебнулась, но и то, что жертва погрузилась в воду еще живой, то есть с бьющимся сердцем. Однако надежного способа для определения разбавления крови в левом желудочке сердца в то время не было.

2. В воде содержатся, как правило, мелкие живые организмы, которые можно различить только под микроскопом. В первую очередь это разновидности водорослей. До 1904 г. немецкий исследователь Ревенсторф под своим микроскопом в 95 % всех случаев с утопленными и утонувшими обнаружил в легочных тканях скелеты диатомовых водорослей. Правда, оказалось, что и у тех умерших, которые были брошены в воду после смерти, вода и водоросли тоже могут проникать в легкие. Однако они, по всей вероятности, никогда не достигают более глубоких их областей. Следовательно, если у какого‑нибудь мертвеца в глубинных областях легких обнаружены водоросли, можно с уверенностью считать, что он попал в воду живым и там захлебнулся.

3. В желудке утонувшего тоже находится вода. Если она прозрачная, то это не является безусловным доказательством того, что мы имеем дело с захлебнувшимся. Здесь также существуют некоторые трудности. Независимо от возможного наличия водорослей в желудке утонувшего образуется водно‑пено‑воздушная смесь, которая возникает вследствие судорожной деятельности мышц живота, кашля и глотания. Опыты свидетельствуют, что и у того, кто попал в воду уже мертвым, вода проникает в желудок. Но лишь у тонущих живыми, у Которых происходят бурные сокращения желудка и кишечника в борьбе со смертью, вода проходит дальше – вплоть до двенадцатиперстной кишки. Еще в 1890 г. финский исследователь Фагерлунд в русском тогда Гельсингфорсе указал на это обстоятельство; оно было перепроверено в самых различных странах и всегда подтверждалось.

Таким образом, относительно установления смерти, происшедшей в воде, удалось создать множество диагностических возможностей для тех случаев, когда смерть наступила сравнительно недавно. Намного сложнее было установить, был ли покойный еще живым насильственно брошен в воду, или насильственно под водой удерживаем. Можно было констатировать смертельные повреждения на теле потерпевшего, если его сбрасыванию в воду предшествовало убийство. Но при насильственной смерти путем утопления расследование сталкивалось с особыми проблемами. Здесь имелось лишь одно облегчающее диагноз обстоятельство: жертвы насильственного утопления защищаются необычайно бурно. Они заставляют своих убийц крепко повозиться, чтобы сломить отчаянное сопротивление, в результате чего на их телах остаются ссадины и царапины. Во всяком случае, даже самоубийцы при прыжке в воду или при запоздалых попытках спастись или за что‑нибудь ухватиться причиняют себе повреждения. Однако подчас различить насильственное утопление от ненасильственного невозможно. Здесь может помочь только учет всех внешних обстоятельств. но все‑таки при насильственном утоплении следует ориентироваться на возможность отыскания следов насилия.

Когда Спилсбери осматривал останки Маргарет Ллойд, он тщетно исследовал их дюйм за дюймом в поисках признаков каких‑либо насильственных действий. Кроме совершенно незначительных ссадин на локте, о которых уже говорил доктор Бэйтиз, он обнаружил всего лишь две крохотные затекшие кровью точки на тыльной стороне левой руки. Невооруженным глазом они были неразличимы и не могли служить доказательством применения какого‑либо насилия. Спилсбери безрезультатно обследовал все тело в поисках хотя бы малейших симптомов заболевания сердца или органов кровообращения, которым можно было бы объяснить внезапное прекращение в ванне циркуляции крови у потерпевшей. Для большей уверенности он взял пробу внутренних органов для исследования их на содержание яда.

С другой стороны, нельзя было недооценивать признаков удушья вследствие захлебывания, даже если они были не сильно выражены и скорее позволяли предполагать почти мгновенную смерть. Проблема того, как в ванне и в тесной ванной комнате можно утопить человека без следов применения насилия, занимала Спилсбери даже тогда, когда он возвращался вместе с Нилом домой. Прежде чем они расстались, он предложил изъять ванну, в которой умерла Маргарет Элизабет Ллойд, для проведения ряда экспериментов. В тот же вечер эта ванна была перевезена с Бисмарк‑роуд в отделение полиции в Кентиштауне.

Нил и Спилсбери пытались провести эксгумацию по возможности незаметно. Но репортеры в последние годы привыкли неотступно следовать по пятам Спилсбери. Первые газеты уже 5 февраля сообщили о таинственном вскрытии в Ислингтоне, а 7 февраля историю об обоих убийствах в ванне можно было найти во всех газетах Лондона и Блэкпула. Несмотря на вести, ежедневно поступавшие с фронтов первой мировой войны, заголовки типа «Новобрачные в ваннах» пробились на первый план. Начальник полиции из Хэрн‑Бэя прочитал несколько сообщений в лондонских газетах и направил Нилу рапорт о смертельном случае, происшедшем 13 июля 1912 г. в Хэрн‑Бэе. Этот случай смерти обнаруживал столь явное сходство с уже известными, что начальник полиции в Хэрн‑Бэе просил Нила проверить, нет ли между ними какой‑нибудь связи.

Вот содержание его рапорта: 20 мая 1912 г. мужчина по имени Генри Уильяме снял для себя и своей жены односемейный дом на Хай‑стрит. Через несколько дней – Уильяме – на вид ему было от сорока до пятидесяти лет – и его более молодая жена Бесси въехали в него. А через семь недель, 9 июля 1912 г., Уильяме приобрел в магазине скобяных товаров ванну.

В нанятом им доме ванны не было, и Уильяме объяснил торговцу, что его жена не желает больше жить без ванны. На следующий день Уильяме появился с женой в приемной доктора Френча. По его утверждению, жена его страдала эпилептическими припадками. Сама же она жаловалась только на головную боль, и Френч прописал ей бром. 12 июля, среди ночи, Френча разбудили и попросили прибыть на Хай‑стрит. Уильяме объяснил, что у его жены снова был припадок. Френч предположил, что эпилептический припадок был вызван жарой. В третьем часу дня он вновь заглянул к больной и нашел Бесси Уильяме бодрой и здоровой. Поэтому он был страшно удивлен, когда рано утром 13 июля, примерно в 8 часов, снова последовал срочный вызов. Ему передали записку, в которой Уильяме писал: «Можете ли Вы сейчас же прийти? Я боюсь, что моя жена умерла». Френч застал Бесси Уильяме лежащей в ванне на спине, ее голова была под водой. В правой руке был зажат кусок мыла. Ноги были вытянуты, ступни торчали из воды у нижнего края ванны. Френч уложил тело на пол и стал делать искусственное дыхание. Все оказалось бесполезным. Бесси Уильяме была мертва. Френч не обнаружил на ее теле никаких следов насилия. Коронер – адвокат из Дувра, удовлетворившись заявлением доктора Френча об эпилептических припадках у покойной, произвел беглое расследование и констатировал «смерть в результате несчастного случая вследствие погружения под воду в ванне во время эпилептического припадка».

Когда поступило сообщение из Хэрн‑Бэя, Нил как раз собрался ехать в Блэкпул, чтобы подготовить там намеченное Спилсбери вскрытие трупа второй супруги Смита‑Ллойда – Элис Смит, урожденной Барнхэм. Поэтому он поручил послать в Хэрн‑Бей прежде всего несколько фотографий Смита‑Ллойда и попросил предъявить их на предмет опознания всем лицам, которые входили в контакт с мнимым Уильямсом. Нил и Спилсбери встретились в Блэкпуле 10 февраля. Спилсбери работал ночью, чтобы обмануть репортеров. Исследование внутренних органов Маргарет Элизабет Ллойд. Обследуя органы кровообращения, он обнаружил лишь легкое изменение сердечного клапана, которое нередко остается после ревматических заболеваний суставов. Но оно было столь же незначительно, как и у большинства людей, считающихся здоровыми, и никак не могло быть причиной смерти во время купания.

Еще сильнее, чем в первый раз, занимал Спилсбери вопрос о том, как можно осуществить насильственное утопление без того, чтобы после него не осталось следов насилия и отчетливых следов удушья? Он очень тщательно измерил тело покойной и распорядился, чтобы Нил перевез в отделение полиции в Кентиштауне также ванну из Блэкпула. Когда они добрались до полицейского участка в Блэкпуле, Нила ожидал там телефонный разговор с Лондоном, из которого он узнал, что из Хэрн‑Бэя сообщили, что Уильямс, вероятно, идентичен Смиту и Ллойду. Все свидетели опознали его на фотографиях.

Когда Нил вслед за двумя своими сотрудниками 18 февраля прибыл в Хэрн‑Бэй, обстоятельства, сопутствующие третьему убийству в ванне, были уже собраны. Его предыстория была абсолютно такой же, как и двух более поздних убийств. Недоставало лишь одного – заключения договора страхования. Но в этом у Уильямса‑Смита‑Ллойда в данном случае не было нужды: женщина, на которой он женился, имела вполне достаточное собственное состояние. Летом 1910 г. он познакомился в Клифтоне, предместье Бристоля, с тридцатилетней Бесси Манди. Ее отец оставил после себя состояние в 2700 фунтов стерлингов, которым управляли родственники. Бесси же не смела расходовать основной капитал, а получала из процентов лишь 8 фунтов стерлингов в месяц. Весь остаток процентов откладывался на черный день.

К 1910 г. этот остаток вырос до 138 фунтов стерлингов и был в любое время к услугам Бесси Манди. Сам же капитал только в случае смерти переходил к ее наследникам. 26 августа 1910 г. Уильямс женился на Бесси Манди и уже в день свадьбы потребовал 138 фунтов стерлингов. Получив их, он исчез и написал своей жене письмо, в котором утверждал, будто она заразила его венерической болезнью и он не желает ее больше видеть. Бесси не поняла, что случилось. Она снова зажила уединенной жизнью одинокой молодой, малопривлекательной женщины. В феврале 1912 г. она находилась в пансионе в одном городке. Там, на улице она встретила беглого мужа. Кажется непостижимым, но в течение нескольких часов она все ему простила и последовала за ним в Хэрн‑Бэй. 2 июля Уильямс осведомился у юриста, действительно ли состояние его жены может попасть в его руки только после ее смерти. Шесть дней спустя жена назначила его своим единственным наследником. А еще через двадцать четыре часа – 19 июля – Уильямс купил дешевую ванну, в которой 13 июля 1912 г. и умерла Бесси.

Из‑за войны Хэрн‑Бей был окружен полевыми укреплениями и колючей проволокой. Между ними находилось кладбище. Поэтому перевозка Бесси Уильямс в морг была связана с некоторыми хлопотами. Спилсбери прибыл в Хэрн‑Бэй 19 февраля. Несмотря на прогрессирующие трупные изменения, он обнаружил симптом, часто встречающийся при смерти от утопления: гусиную кожу. И все другие признаки, которые он еще смог установить, указывали на очень быструю смерть в результате утопления. Сердце сохранилось хорошо и позволяло, как и состояние других органов кровообращения, сделать вывод, что никаких нарушений кровообращения не было. Он снова не нашел ни малейшего следа телесных повреждений, насильственных захватов или борьбы. Спилсбери тщательно измерил тело и потребовал, чтобы ванна, в которой скончалась Бесси Уильямс, тоже была привезена в Лондон. 23 февраля в Кентиштаун прибыла ничем не примечательная, слегка поржавевшая ванна.

Сотрудники Нила шаг за шагом выяснили, кто такой в действительности Уильямс‑Смит‑Ллойд, откуда он родом и не умертвил ли он и ограбил еще большее число женщин. Они выяснили, что его настоящая фамилия была Смит – Джордж Джозеф Смит, 1872 года рождения, сын страхового агента; с девятилетнего возраста воспитанник исправительного дома, мошенник, аферист, вор, частый обитатель многих обычных и каторжных тюрем. Постепенно напали на след, а потом и нашли женщин, у которых он выманивал все сбережения, чтобы затем немедленно исчезнуть. Видимо, 2700 фунтов стерлингов Бесси Манди, которые он не мог получить от нее другим способом, побудили его к убийству в первый раз. Однако, сколько бы материалов ни собрали Нил и его люди, ни один свидетель не видел Смита в момент умерщвления им своих жертв. Не было никого, кто бы мог заявить суду: «Это – убийца». А если уж не было очевидцев преступления, то обвинение обязано было по крайней мере объяснить, каким образом Смит топил своих жертв, не оставляя на них следов насилия. Ни один суд присяжных не осудил бы Смита, не получив прежде удовлетворительного ответа на этот вопрос. Спилсбери в первой половине марта ежедневно появлялся в помещении отделения полиции в Кентиштауне, где были установлены ванны. Он носил при себе листок с записанными размерами тел и веса потерпевших. Среди оставленных им после себя бумаг позже нашлись записи, которые показывали, каким путем он шел к тому, чтобы воссоздать ситуацию, в которой эти женщины умирали.

Решение Спилсбери нашел на исходе первой недели марта, когда он еще раз изучал все положения, которые могла принять женщина размеров и веса Бесси Уильямс в случае, если у нее действительно случился эпилептический припадок в ванне. Первая жертва Смита была ростом 1 м 70 см, а ванна была длиной всего в полтора метра. Ножной ее край был крутым, а головной – скошенным. Длина дна ванны составляла несколько больше метра. Первая стадия эпилептического припадка состоит в вытягивании всего тела. Невероятно, чтобы при этом купающаяся с головой ушла под воду. Напротив. С учетом ее роста и малых размеров ванны верхняя часть ее тела должна была бы выдвинуться вверх по скошенному головному краю ванны или ее боковых краев. Вторая стадия эпилептического припадка заключается в бурных движениях конечностей, которые при этом то притягиваются к телу, то снова отталкиваются от него. Опять же трудно себе представить, как при этом тело, ягодицы которого в тот момент покоились на дне ванны, могло оказаться под водой. Еще меньшая возможность этого имеется при третьей стадии припадка – общем засыпании и разрядке организма. Несоответствие между размерами тела жертвы и ванны было просто огромно. Так как доктор Френч заявил, что голова покойной находилась под водой, но ноги были вытянуты, так что стопы торчали из воды у нижнего края ванны, то Спилсбери не находил никакого объяснения тому, как могла Бесси Уильямс принять такое положение… И в этот момент решения ясно встало перед глазами Спилсбери.

Имелась лишь одна возможность: Уильямс должен был – инсценируя влюбленное поддразнивание – схватить ничего не подозревающую купальщицу за ноги, приподнять их и затем внезапно резко потянуть на себя через нижний край ванны. В тот же момент верхняя часть тела его жертвы вынужденно соскользнет под воду, внезапное проникновение которой в нос и рот вызовет шок с моментальной потерей сознания. Отсюда и отсутствие признаков борьбы, отсюда и неотчетливость признаков утопления и удушья.

Спилсбери поспешил в свой кабинет и стал изучать имеющуюся литературу относительно случаев внезапной смерти от утопления. Почти никто не занимался проблемой того, может ли внезапное проникновение воды в полости носа или глотки оказать какое‑то воздействие на работу сердца или центральную нервную систему. Имелись лишь отдельные наблюдения такого рода. Но Спилсбери был убежден, что решение найдено.

Когда об этом узнал Нил, он пригласил нескольких привычных к нырянию пловчих, соответствовавших по росту и весу жертвам Смита, дабы на практике проверить выводы Спилсбери. Он испробовал самые различные ситуации, при которых голова и верхняя часть туловища могли бы быть погружены под воду путем применения насилия. Это оказалось невозможным, ибо происходило в ожесточенной борьбе. Даже внезапный насильственный наклон головы не мог помешать тому, чтобы руки утопающей цеплялись за край ванны или хватали самого виновного. Однако, когда Нил схватил одну пловчиху за ноги и вдруг дернул их на себя, ее голова и верхняя часть туловища соскользнули под воду так быстро, что ее руки не успели даже ни за что уцепиться. Через несколько секунд Нил к своему ужасу заметил, что его подопытная больше не движется. Он выдернул верхнюю часть туловища юной женщины из ванны и с испугом увидел, что ее голова шатко клонилась в сторону. Полчаса боролись Нил, сержант и врач за то, чтобы вернуть потерявшую сознание к жизни. Придя в себя, она вспомнила только одно: когда она соскользнула под воду, вода полилась сверху через ее нос. И в тот же момент она потеряла сознание – у нее наступил шок, хотя она, в отличие от жертв Смита, ожидала нападения и, опять‑таки в отличие от жен Смита, прекрасно умела плавать и нырять. Нил немедленно прекратил все дальнейшие эксперименты. Опасно экспериментируя на грани неосторожного убийства, он подтвердил, сам того не подозревая, правильность выводов Спилсбери способом, который позднее заставил содрогнуться многих присяжных.

22 июня 1915 г. Джордж Джозеф Смит предстал перед судом Олд‑Бейли. Никогда прежде не видело это старое, почтенное здание такого наплыва женщин. Это были они – те одинокие, физически или духовно ущербные, изголодавшиеся по любви, из числа которых выбирал Смит своих жертв. После длившегося всего двадцать минут совещания присяжные 30 июня признали его виновным, а судья Скрэттон осудил его к смертной казни через повешение.

Как ни препятствовали события первой мировой войны тому, чтобы необычные обстоятельства дела Смита стали известны за пределами Англии, после войны оно оказало значительное воздействие на возобновившиеся исследования в области судебной медицины. Его семена взошли отчасти в новом ответвлении медицинских и судебно‑медицинских исследований, которое из области анализа смерти от утопления, констатируемой на основе органических данных, продвинулось в весьма таинственную область нервной регуляции человеческого организма. Она позволяет познать или по меньшей мере догадаться о нервных рефлексах, которые неожиданным образом могут приводить к смерти. Существует особая связь лицевых нервов или нервов глазного яблока с дыхательным и сосудодвигательным центрами, и раздражение этих зон может вызывать внезапную смерь. Имеется также своеобразная связь между раздражением, воздействующим на орган обоняния, и случаями внезапной смерти в воде. Впрочем, возможности доказывания насильственного и ненасильственного утопления претерпели такую же эволюцию, как и другие области судебной медицины. Опыт десятилетий учит, что прежнее представление о том, будто проникновение зеленых и кремнистых водорослей в малые бронхиальные ветви уже доказывает, что человек попал в воду живым и потом захлебнулся, далеко не всегда оказывается верным. При сильном течении воды и у людей, попавших в воду мертвыми, водоросли проникают до легочной альвеолы. Лишь если ее находят в мускулатуре сердца или в печени, это является абсолютным доказательством того, что утопленник действительно захлебнулся. Доказывание наличия водорослей в сердечной мышце или в тканях печени требовало разрушения этой ткани кислотами, которые не могут растворить силикатный панцирь кремнистых водорослей, которые после всего этого можно было рассмотреть через микроскоп.

И для решения проблемы разбавления крови водой в левом желудочке сердца тоже были найдены новые доказательственные возможности с помощью микрохимии и физической химии. Именно в этой области в 1921 г. гражданин США одним из первых предложил использовать новые методы. Он исследовал содержание соли в крови сердца у людей, утонувших в соленой морской воде близ Нью‑Йорка, и установил, что ее содержание в левом желудочке сердца было повышенным по сравнению с естественной нормой. У того же, кто утонул в пресной воде, наоборот, наблюдалось снижение содержания соли. Этим исследователем был Александр О. Джеттлер, химик и токсиколог службы Главной медицинской экспертизы города Нью‑Йорка. Его метод в Европе остался либо неизвестным, либо отрицался и оспаривался.

**9**

*Германия, 1929 г. – исследования Рихарда Коккеля. Дело Тецнера. Вскрытие Коккелем обугленного трупа. Судебно‑медицинское объяснение одного случая убийства ради получения страховой суммы. Проблема жировой эмболии. Сажа и окись углерода. Разоблачение и осуждение Тецнера.*

В ходе своей истории судебная медицина не раз достигала наиболее высокого уровня то в одной, то в другой стране, и к концу 1929 г. в этой области вновь явно выдвинулась на передний план Германия. На этот раз достойным представителем этой развивающейся науки стал Рихард Коккель, который за три десятилетия, прошедшие со времени его скромных начинаний в Лейпциге, вырос в ведущую фигуру германской судебной медицины.

Коккель подчеркивал необходимость одновременного полицейского и судебно‑медицинского осмотра места преступления и тесного сотрудничества между судебной медициной и полицией. Он также ратовал за использование в судебной медицине чрезвычайно важных для криминалистики достижений в области естественных наук и техники. Вероятно, из‑за того, что он обладал недюжинными техническими способностями, Коккель избрал путь, выходящий за пределы чистой медицины.

Он был приверженцем такой судебной медицины, которая использовала бы самые различные естественнонаучные и технические средства при раскрытии преступлений. Конечно, у Коккеля были противники, которые не хотели выходить за границы традиционной судебной медицины, но у него имелось и достаточно сторонников, и он мог быть уверен, что не только ближайшее, но и отдаленное будущее принадлежит им…

Человеком в духе Коккеля был берлинский судебный медик профессор Курт Штраух – популярнейшая фигура в берлинской уголовной полиции между двумя мировыми войнами, – который убедил полицейского начальника Эрнста Генната (известного тем, что он весил почти полтора центнера) в том, что место судебных медиков не только в моргах или лабораториях, но и на месте совершения преступления. Профессор Штраух мог, пренебрегая белым халатом, работать в старом сюртуке и (подобно Спилсбери) грубыми инструментами; даже самых обычных служащих берлинской уголовной полиции он знакомил с миром судебной медицины и ее возможностями. То же самое было характерно для более молодого Вальдемара Ваймана, который создал в конце 20‑х годов (в то время, когда в берлинской уголовной полиции, как и в лондонской и парижской, появились прославленные криминалисты) врачебный чемодан для автомашин Берлинской комиссии по расследованию убийств, содержащий все, что необходимо судебному медику при осмотре места преступления.

На таком фоне и развернулись события, начавшиеся 30 ноября 1929 г. в институте судебной медицины Лейпцигского университета. Около полудня там появился агент крупной германской страховой компании «Нордштерн». Он попросил Коккеля переговорить с ним по конфиденциальному и действительно неотложному делу, ибо в капелле на Южном кладбище Лейпцига уже был установлен гроб с телом Эриха Тецнера, коммерсанта, 26 лет, чье погребение должно было состояться через час. Из данных полиции и прокуратуры Регенсбурга явствовало, что Тецнер 27 ноября во время служебной поездки в своем зеленом «опеле» у дома № 8 по Ландштрассе на небольшой скорости налетел на дорожный столб. Удар был не сильным, но автомобиль все же загорелся, и тело Тецнера вытащили с водительского места полностью обуглившимся. Прокуратура Регенсбурга дала распоряжение о его захоронении.

Для страховой компании проблема состояла в том, что Тецнер застраховался от несчастного случая не только у «Нордштерн», но еще и у страховых компаний «Фатерлендишен» и «Альянц», причем на неимоверную, если учитывать его материальное положение, сумму в 145 тыс. имперских марок. Договоры страхования вступили в силу всего несколько недель назад. Вдова Тецнера – Эмма Тецнер, урожденная Георги, – сразу после смерти мужа предъявила претензии на страховые суммы.

Многое в этих обстоятельствах казалось подозрительным. Представитель страховой компании пояснил, что существует, правда, вероятность того, что у Тецнера было больное сердце и вследствие сердечной слабости он наехал на дорожный столб. Но нельзя исключать и самоубийства. Во всяком случае, после неприятных объяснений он добился у вдовы разрешения на вскрытие тела покойного и теперь просил Коккеля от имени «Нордштерн» произвести его. Так как уже нет никакой возможности перевезти труп в институт Коккеля, то вскрытие может быть проведено только в капелле на Южном кладбище.

Как и у большинства судебных медиков, у Коккеля с годами развилось отличное чутье на случаи, в которых пахло убийством. Поэтому он немедля согласился и поехал с представителем «Нордштерн» на Южное кладбище. В гробу лежал, как писал он позднее, «страшно обугленный торс, к которому прилепились: шейный отдел позвоночника вместе с основанием черепа, верхняя половина обоих бедер, нижний конец сустава правого бедра и части рук. Кроме того, на трупе сохранилась часть головного мозга размером с кулак. Сколь ни безнадежным при только что описанном состоянии трупа казалось его вскрытие, оно тем не менее было проведено… О том, что применительно к торсу речь шла об останках мужчины, установить было сравнительно легко. Правда, мужской половой орган был обуглен, но еще хорошо сохранился. Волосяной покров головы исследовать было нельзя, ибо вся ее подволосная часть отсутствовала».

Кусок головного мозга был в поразительно свежем состоянии, чего Кокель не мог объяснить. В полости рта, в гортани, в сохранившихся частях трахеи он не нашел никаких отложений сажи. В сердце было немного сгустков крови. Правая нижняя доля легкого хорошо сохранилась. Коккель поместил кровь из сердца и долю легкого в колбы, которые положил в свой карман. При исследовании сохранившихся костей он насторожился. Они были необычно слабы и до такой степени напоминали легкую костную структуру женщины, что вызывали сомнение насчет того, действительно ли в данном случае речь идет о мужском скелете. Удивление Коккеля возросло, когда он распилил хорошо сохранившуюся суставную головку левого плеча. Без труда он узнал остатки хрящевых планок, которые имеются только у подростков на стыках суставов длинных трубчатых костей, но исчезают к двадцати, самое позднее – к двадцати трем годам жизни. Коккель еще раз осведомился у своего спутника, сколько лет было Тецнеру. И услышал в ответ:

«Двадцать шесть». – «А какого он был сложения?» Служащий страховой компании заглянул в свои бумаги и ответил: «Очень крепкого, рост один метр семьдесят сантиметров, широкоплечий, коренастый, немного грузноват».

До слуха уже доносились приглушенные голоса собравшихся проститься с покойным, когда Коккель покинул капеллу через заднюю дверь. У выхода с кладбища он неожиданно спросил, убежден ли представитель страховой компании, что покойный действительно является Эрихом Тецнером? Страховой служащий поначалу не понял. Он сам хотел бы знать мнение Коккеля по этому поводу. Коккель ответил, что, пожалуй, он сможет сделать какие‑то выводы, но окончательно выскажется по этому поводу лишь вечером.

К тому времени судебная медицина уже около ста лет занималась исследованием ожогов и смерти от них. Одним из нашумевших в прошлом случаев была смерть в Дармштадте графини Герлиц, которая 13 июня 1847 г. была найдена сгоревшей в своих покоях. Кроме гессенского окружного врача Граффа, этим загадочным случаем убийства занимался такой прославленный ученый, как химик Юстус Либих. Этот эпизод породил долгие дискуссии о возможности «самосожжения».

Под ним понималось возгорание, которое могло возникнуть внутри человека после обильного употребления им алкоголя при приближении пламени к выдыхаемому воздуху и в дальнейшем поддерживаться подкожным жиром. Такое представление о самосожжении принадлежало к числу басен старой судебной медицины. Либих, правда, исключил возможность самосожжения, но ни он, ни другие эксперты не смогли с помощью медицинских аргументов доказать, что графиня была задушена лакеем и лишь затем сожжена, чтобы замести следы преступления. Только признание лакея привело к раскрытию этого преступления.

Ужасная гибель в пламени большого числа людей во время пожара венского Ринг‑театра в 1882 г. побудила, в частности, Эдуарда фон Гофмана заняться не только проблемой идентификации сгоревших, но и специально последствиями ожогов. С тех пор судебная медицина вновь и вновь сталкивалась с проблемой ожоговых повреждений и смерти от огня; с одной стороны – при проведении экспертизы по делам, связанным с выплатой страховых сумм, а с другой – при расследовании преступлений. Перечень трудов о случайной смерти от ожогов, об убийстве путем сожжения или о случаях, когда убийца (как в деле Герлиц) пытается путем пожара скрыть следы совершенного преступления, становился все более обширным. Задача точного установления различия между этими случаями стала одной из важнейших.

Большую роль при этом сыграло открытие, что люди, попавшие в огонь еще живыми, вдыхают сажу, которую можно обнаружить в гортани, трахеи и в легочных альвеолах. Все более решительно высказывалось мнение, что и моноокись углерода, возникающая во всех случаях горения, тоже должна вдыхаться жертвой огня, а следовательно, и содержаться в крови у заживо сгоревших.

Чудовищное количество смертей от несчастных случаев и самоубийств, последовавшее после введения в середине XIX века освещения газом, содержащим окись углерода, научило судебную медицину, как искать следы окиси углерода в крови погибших. Между окисью углерода и пигментом красных кровяных телец – гемоглобином – существует необычная «сила притяжения». Она сильнее, чем связь между пигментом крови и жизненно необходимым организму кислородом. Окись углерода вытесняет, так сказать, кислород из гемоглобина и, если этот ядовитый газ воздействует на организм длительное время, приводит к смерти вследствие внутреннего удушья. На основе этого судебная медицина создала свои методы распознания окиси углерода в крови. Так, красная окраска гемоглобина, содержащего окись углерода, будет более стойкой, чем красная окраска гемоглобина, насыщенного кислородом. Если кровь, которую хотят подвергнуть анализу на содержание окиси углерода, поместить в определенные химикалии, то нормальный, насыщенный кислородом гемоглобин быстро примет буроватую окраску, и гемоглобин, содержащий окись углерода, останется красным.

Но все же гораздо важнее химических проб стал спектральный анализ крови. Гемоглобин, насыщенный кислородом, и гемоглобин, содержащий окись углерода, четко выражаются в спектроскопе различными линиями. Если к обоим видам гемоглобина добавить определенные химические реагенты, то спектр линий гемоглобина, содержащего кислород, изменится, а спектр линий гемоглобина, насыщенного окисью углерода, не изменится. Правда, для того чтобы ядовитый газ можно было обнаружить при спектральном исследовании, исследуемая кровь должна была содержать не менее 20 процентов окиси углерода. Лишь в 1921 г. австрийскому исследователю В. Шварцахеру удалось спектрофотометрическим путем констатировать наличие окиси углерода при гораздо более низком проценте ее содержания в крови.

Исследования подобного рода были еще в разгаре, когда Коккель 30 ноября 1929 г. около 3 часов дня возвратился в свой институт. Там он тотчас приступил к исследованию взятой из сердца крови (которую принес с собой в колбе) на содержание в ней окиси углерода. Он применял всевозможные химические и спектроскопические методы, но все они дали отрицательный результат. Коккель видел, что его подозрение о том, что покойник на Южном кладбище не Эрих Тецнер, еще раз подтверждается. Ибо если в дыхательных путях нет сажи, а в крови – окиси углерода, то мнимый Тецнер был уже мертв в тот момент, когда автомобиль запылал. А что, если Тецнер убил кого‑нибудь другого и сжег его в своем автомобиле, чтобы его сочли погибшим и выплатили его жене страховые суммы?

Коккель попытался установить, не стал ли неизвестный покойник жертвой чьего‑либо насилия до того, как сгорел. Тем самым он вклинился в другую обширную область судебной медицины, о которой мы уже неоднократно упоминали, но изучение которой именно в 30‑е годы стало объектом целенаправленных усилий многих судебных медиков – от Курта Вальхера в Германии до Пьедельевра во Франции и Кернбаха в Румынии, от Балотты и Доменичи в Италии до Оршоша в Венгрии. Целью их было более основательно, чем до сих пор, исследовать, каким образом отличить повреждения, полученные человеком при жизни, от тех, которые сознательно или случайно причинены ему после смерти. Когда Коккель изготовил микроскопический срез той части легкого, которую он принес с собой с Южного кладбища, и положил этот срез под микроскоп, он увидел, что части самых мельчайших сосудов легкого были закупорены светлыми, как вода, каплями, по форме напоминающими колбаски. Иначе говоря, он наблюдал так называемую жировую эмболию – закупорку кровеносных сосудов. в особенности сосудов легкого, телесным (аутогенным) жиром. Уже десятилетия назад хирурги и патологоанатомы обратили внимание на то, что в ряде случаев, прежде всего под воздействием ударов по телу человека тупым предметом, вследствие переломов костей, повреждений черепа, садистских пыток, подчас даже при обычных сотрясениях тела, жир из жировой ткани проникает в кровеносные сосуды. С потоком крови он попадает в правый желудочек сердца, а оттуда – в легкое. В результате наступает закупорка мелких сосудов легких, что в большинстве случаев ведет к прекращению кровообращения и к смерти. Если кровообращение было достаточно сильным, то оно гонит частицы жира вместе с кровью в другие части тела, в том числе в почки и в мозг. Иногда жировая эмболия развивается в течение считанных секунд, но она всегда является следствием внешнего насилия в той или иной форме. Однако еще в 1898 г. итальянский исследователь Марко Каррара указывал на то, что и при ненасильственной смерти от ожогов тоже может наблюдаться проникновение в легкие жира, который от жары расплавляется и становится текучим. Даже у лиц, попавших в огонь уже мертвыми, можно наблюдать. как возникающее давление пара как бы впрессовывает расплавленный жир в легкие. Но большинство судебных медиков было уверено, что такого рода «жировое вторжение» можно отличить от настоящей жировой эмболии и что настоящая жировая эмболия в легких всегда служит признаком тяжкого, причиненного тупым предметом повреждения, в данном случае нанесенного потерпевшему до того, как он оказался в огне. Потому‑то Коккель и пришел к заключению, что покойник, захоронненый на Южном кладбище, по всей вероятности, был убит прежде, чем сгорел в огне.

Хотя уже наступил вечер, но Коккель тем не менее решил немедленно информировать лейпцигскую уголовную полицию. В ходе своей работы (в соответствии с ее целями) он всегда поддерживал тесные взаимоотношения с полицией. Поэтому он разыскал заместителя начальника лейпцигской уголовной полиции советника фон Кригерна, с которым был особенно тесно связан.

Со свойственной ему убедительностью Коккель выложил Кри‑герну свои сомнения, которые сводились к следующему: 1. Покойник не является Тецнером. 2. Речь идет о неизвестном лице, которое было сначало убито, а затем сожжено. 3. Убийца был, вероятно, Тецнер, задумавший страховое мошенничество. 4. Исключается уничтожение в огне тех частей тела, которых не хватало туловищу покойника, похороненного на Южном кладбище (верхней части головы, голеней и стоп). Недостающая часть головы была удалена, очевидно, потому, что на ней были видны смертельные повреждения. Другие части тела убийца отсек, возможно, из‑за того, что на них были какие‑нибудь характерные признаки, свидетельствующие о том, что это не Тецнер. Вероятно, их можно было бы найти, если бы на место происшествия сразу же был вызван судебный медик. Во всяком случае, необходимо еще раз осмотреть всю территорию вокруг места происшествия в поисках отсутствующих частей тела. 5. Тецнер, скорее всего, где‑то прячется и при благоприятном для него развитии событий попытается войти в контакт со своей женой.

В ту же ночь Кригерн распорядился установить наблюдение за квартирой Эммы Тецнер. Когда 1 декабря он узнал, что Эмма Тецнер удивительно часто пользуется телефоном соседей, он отдал распоряжение прослушивать данный телефонный номер; Одновременно с этим он выслал на место несчастного случая полицейских. Но все усилия были напрасны. Полицейские доставили только сообщение о том, что жандармский комиссар Пфайфер, первым оказавшийся на месте пожара, обнаружил ту самую хорошо сохранившуюся часть головного мозга, наличие которой констатировал Коккель при производстве вскрытия, не в сгоревшем автомобиле, а в стороне, в полутора метрах от той дверцы автомобиля, которая находится напротив места водителя.

Кригерн передал столь удивительную подробность Коккелю, который принял это к сведению, но проворчал: жаль, что с судебно‑медицинским обследованием места происшествия запоздали.

Вскоре после этого Кригерн получил донесение из уголовной полиции Ингольштадта. В больнице этого города с 22 ноября находился подмастерье слесаря Алоиз Ортнер. Он рассказал, что 21 ноября его нагнал в дороге зеленый «опель», водитель которого предложил ему место в машине. Не доезжая до Ингольштадта, он сказал, что повреждена передача, и попросил Ортнера залезть под машину и подтянуть некоторые гайки. Когда же Ортнер вылез из‑под машины, он получил два удара по плечам и голове. Все же ему удалось подняться, и он увидел, что напал на него столь дружелюбный вначале водитель автомашины. Ортнер стал отбиваться, в конце концов вырвался и убежал в лес. С учетом того факта, что у Тецнера тоже был зеленый «опель», перед Кригерном встал вопрос – не был ли этот водитель автомашины Тецнером? Может быть, он выбрал Ортнера для осуществления своего плана, но его нападение провалилось только потому, что Ортнер оказался слишком сильным?

В 8 часов утра 4 декабря сотрудник полиции, которому было поручено прослушивать телефон соседей фрау Тецнер, услышал, что для междугородного разговора со Страсбургом к аппарату приглашается Эмма Тецнер. Звонивший назвался Зранелли. Служащий включился и сказал, что фрау Тецнер нет дома», она будет лишь в шесть часов вечера и Зранелли может при желании позвонить ей в это время и тогда уж наверняка сможет с ней поговорить. Было быстро установлено, что разговор велся из переговорной кабины с Главного почтамта Страсбурга. Кригерн попросил Сюртэ установить наблюдение за почтамтом, а сам вылетел специальным самолетом в Страсбург и прибыл туда как раз вовремя, чтобы арестовать незнакомца, назвавшего себя Зранелли, когда последний около 6 часов вечера входил в телефонную кабину.

Удивление Зранелли было так велико, что он признался, что на самом деле его имя Эрих Тецнер. Тем же вечером он дал показания. Еще в сентябре 1929 г., как было записано в протоколе, у него возник план добыть большую сумму денег путем страхового мошенничества, для чего он намеревался сжечь вместо себя какого‑нибудь незнакомца. Дело в том, что после своей женитьбы в 1927 г. он поначалу держал кафе в Ошаце, но разбогатеть таким путем не смог. В 1929 г. кафе было продано. Тецнер с женой переехали в Лейпциг, где истратили большую часть суммы, вырученной от продажи кофе. Поиск денег и привел его к идее страхового мошенничества.

Заключив несколько страховых договоров, он начал охотиться за своей будущей жертвой. Тецнер признался, что 21 ноября он заманил в свой автомобиль подмастерье Ортнера и пытался его убить. Когда же 26 ноября он собрался на охоту за новой жертвой, то обстоятельно проинструктировал свою жену. В случае если план на этот раз удастся, она получит телеграмму, в которой будет описана одежда его жертвы. Эту одежду при осмотре трупа ей предстоит опознать как его собственную. Следующей ее задачей будет получение страховых сумм. Через определенные промежутки времени он будет под чужой фамилией звонить ей и в конечном итоге назначит место встречи за границей. 27 ноября на шоссе, ведущем в Регенсбург, он увидел путника. Правда, путник не был на него похож. Незнакомец был тщедушным малым и притом намного моложе его. Но после случая с Ортнером он предпочел выбрать жертву слабее себя. По пути в Регенсбург парень заснул. Тогда Тецнер осторожно наехал на столб, а проснувшемуся на миг попутчику объяснил, что произошла небольшая заминка. Вслед за этим он облил автомобиль бензином из запасной канистры и бросил горящую спичку на подножку машины. Как только яркое пламя охватило машину, он удрал.

Кригерн обсудил все это с Коккелем. Тот заявил, что считает признание Тецнера ложным. Обнаружение жировой эмболии свидетельствовало против его показаний. Коккель продолжал утверждать, что неизвестный погиб не в огне, а еще до этого, в результате насилия. О том свидетельствовали не только медицинские данные, но и материалы расследования, проведенного полицией. Как, к примеру, мог покойный оказаться на сиденье шофера, если он уснул на соседнем месте, где, следовательно, и должен был сгореть?

Снова и снова Кригерн допрашивал Тецнера. Но лишь в апреле 1930 г., когда было готово письменное экспертное заключение Коккеля и Кригерн дал Тецнеру время ознакомиться с ним, тот внезапно изменил свои первоначальные показания. Очевидно, после некоторого размышления Тецнер понял, что феномен жировой эмболии является фактически самым веским доказательством против него, ибо в начале мая попросил препроводить его к следственному судье. Последнему он заявил следующее: «Мое прежнее признание было ложным». И затем продолжил, что ночью в темноте под Байрейтом он на машине сбил какого‑то парня‑рабочего. Увидев его лежащим на дороге в бессознательном состоянии, он перенес его в машину, где тот вскоре скончался. В этот момент ему в голову пришла идея использовать незнакомца в целях своего мошеннического плана. Он усадил его за руль и поджег автомобиль.

Новые показания Тецнера были, несомненно, хорошо продуманы. Они давали объяснение факту жировой эмболии и подрывали доказательства того, что Тецнер сначала убил свою жертву. Убийство но неосторожности представляло собой менее тяжкое преступление, чем предумышленное убийство.

Чтобы убедиться в том, как мало значит судебно‑медицинская теория вне связи с реальностями конкретного события, достаточно поставить лишь несколько вопросов. Если жертва Тецнера заживо сгорела в автомобиле, то как попал на бетонное полотно дороги свежий кусок головного мозга из черепа покойного, как мог он отлететь на полтора метра от закрытой машины, да еще оказаться на противоположной от сиденья шофера стороне дороги? Где находятся те части тела, которых недостает в трупе, но которые не могли быть полностью уничтожены огнем? Может ли быть найдено иное объяснение всему этому, чем то, которое напрашивается в связи с обнаружением жировой эмболии: жертва была убита после применения насилия вне автомашины, а части тела, выдающие преступника (как, например, разбитая крышка черепа), устранены – вот тогда‑то Тецнер и потерял кусок мозга.

И вот 17 марта 1931 г. в Регенсбурге начался процесс против Эриха и Эммы Тецнер. «Подсудимый, – настаивал Коккель, – сжег человека, которого он перед этим тяжело ранил и изувечил. Вероятно, этот человек умер при обстоятельствах, которые выставили бы Тецнера в еще более ужасном свете, чем сожжение человека заживо».

Несколько дней спустя суд приговорил Тецнера за умышленное убийство к смертной казни. А 2 июня, после отклонения ходатайства о помиловании, Тецнер сознался, по крайней мере отчасти, в том, как совершил преступление в действительности. Парня он подобрал на дороге еще в Райхенбахе. Когда тот неподалеку от Нюрнберга пожаловался, что зябнет, Тецнер так крепко завернул его в плед, что парень стал беспомощным, и Тецнер смог задушить его. Но и в этом признании не хватало еще какой‑то доли правды.

А закончил свою исповедь Тецнер словами: «Пока шел судебный процесс, я все время думал, что профессор Коккель совершенно прав».

**10**

*Утверждение судебной медицины во всем мире.*

В 1840 г. один из самых первых журналов по судебной медицине опубликовал список наиболее именитых специалистов в этой области. Он включил двадцать две фамилии – фамилии людей, которые жили во Франции, в германских землях, в Италии, в Австрии, в Шотландии, то есть в Европе – центре тогдашнего мира. Сто лет спустя, на пороге второй половины XX столетия, многие судебно‑медицинские журналы опубликовали новые списки, в которых пытались охватить институты судебной медицины и судебных медиков всего мира. Но теперь им это уже не удалось. Их списки охватывали тысячи фамилий, а «мир» не означал больше только Европу. И тем не менее эти списки никак нельзя было назвать полными. Пусть страны, бывшие в свое время колыбелью судебной медицины, все еще проводят самую большую часть научных и практических исследований, пусть Париж, Лион или Лилль, Берлин, Лейпциг, Мюнхен, Гейдельберг, Кёльн, Эрланген или Гамбург, Вена, Грац или Инсбрук, Милан, Рим, Неаполь или Палермо, Эдинбург или Глазго по‑прежнему являются обителями судебно‑медицинских исследований международного класса, – все же они уже стали только частями разросшегося мира судебной медицины.

Без сомнения, за столетие судебная медицина стала мировой наукой. Но эта пространственная широта – лишь один аспект проблемы. Важнее другое: ее постоянные старания приспособиться ко все более расширяющемуся и быстро текущему развитию криминалистических и социальных проблем, с одной стороны, и сферы медицины – с другой. С самого своего зарождения судебная медицина научилась двум вещам: бороться и развиваться. Там, где судебная медицина сама не в состоянии более быть резервуаром всего накопленного опыта, она становится на путь ограничения своих исследований чисто «медицинской» сферой, которая, несмотря на это ограничение, столь широка, что ее вряд ли охватишь взглядом. К тому же ее закон провозглашает сотрудничество с другими судебно‑криминалистическими науками, которые отчасти произросли из ее лона, отчасти возникли самостоятельно и будут рассмотрены нами в дальнейшем.

**III**

**Яд, или истинные и ложные пути судебной токсикологии**

**1**

*1840 г. – дело Мари Каппель‑Лафарж, или дебют токсикологии. Предыстория одного поразительного убийства с помощью яда. Ле Гландье, мышьяк и смерть Шарля Лафаржа.*

В начале 1840 г. лишь немногие знали имя молодой двадцатичетырехлетней француженки Мари Лафарж.

А через несколько месяцев оно было на устах у каждого, причем не только в Париже, Лондоне, Берлине, Вене или Риме, но даже в Санкт‑Петербурге и Нью‑Йорке. Мари Лафарж, обвиняемая в отравлении своего мужа Шарля Лафаржа, обрела всемирную известность.

Может показаться странным, что в данном случае, как и во многих других, смерть самого обыкновенного человека (каким был Шарль Лафарж) в заброшенном местечке французской провинции – в Ле Гландье – взбудоражила весь мир. Может быть, дело в загадочной личности молодой женщины, привезенной Ла‑фаржем из Парижа в Ле Гландье? А может быть, в том факте, что с незапамятных времен отравительницы воспринимались окружающими как злобные, сеющие повсюду смерть колдуньи? Либо же причину следует искать исключительно в том, что процесс по делу Лафарж позволил тогдашнему миру узнать о новой науке – науке о ядах, или токсикологии? Миллионы людей впервые узнали о выступающих перед судом врачах и химиках, которые пытаются вырвать у трупа тайну погубившего его яда. Новая наука, вызванная к жизни общим взлетом химической науки, казалась столь же таинственной, как и чреватый смертельной опасностью предмет ее исследования. Можно говорить об их взаимном воздействии. Отталкивающе‑манящее впечатление, вызванное отравление и отравительницей, наложило на новую науку своего рода жуткий глянец, притягивающий взоры всех. Именно токсикология в конце концов оказалась в центре всемирного по тем временам внимания к делу Мари Лафарж и столь же широких по своему размаху, ожесточенных дискуссий, порожденных им.

Но изложим события по порядку. Шарль Лафарж был грубоватым молодым человеком лет тридцати, сыном не слишком «отесанного» литейщика, который соорудил на территории бывшего монастыря свои плавильные печи и достиг таким путем некоторого благополучия. Когда отец умер, Шарль Лафарж женился на дочери зажиточного м‑сье Бофора и употребил ее приданое на то, чтобы расширить литейную мастерскую. Пока шло это расширение, жена его умерла. С начала 1839 г. плавильные печи не работали. Лафаржа осаждали кредиторы. Единственный выход из своего отчаянного положения он видел в новой женитьбе на богатой. Поэтому он поручил одному брачному маклеру из Парижа подыскать ему подходящую невесту. Методы его сватовства, как и вся его натура, не отличались излишней щепетильностью. Он выдавал себя за промышленника и владельца аристократического поместья в провинции. В результате в августе 1839 г. он установил контакты с приемными родителями двадцатичетырехлетней сироты по имени Мари Каппель.

Мари Фортюнэ Каппель была дочерью не очень обеспеченного, но болезненно гордого и тщеславного полковника, который служил еще при Наполеоне. После кончины его и его жены приемные родители Мари – состоятельные, но отнюдь не богатые парижские буржуа – посылали девочку в самые хорошие школы, где она общалась с дочерьми аристократов и денежных тузов. Исполненная нездоровой гордости и тщеславия своего отца, она путем всевозможной лжи и обмана окружающих стала изображать, будто происходит из знатной семьи, чтобы выглядеть равной с остальными. После окончания школы она все глубже погружалась в этот мир обмана и самообмана. А так как она не была ни красивой, ни достаточно богатой, чтобы сделать в Париже блестящую партию, то вынуждена была лишь наблюдать с возрастающей горечью, как ее подруги выходили замуж за дворян и обживали их замки. Незадолго перед тем, как Шарль Лафарж появился в Париже, она сопровождала одну из своих школьных подруг в замок виконта де Леото, с которым та была помолвлена. Во время их пребывания там у подруги пропали драгоценности, и виконт де Леото попросил шефа Сюртэ Аллара провести расследование. В ходе последнего Аллар пришел к выводу, что воровкой может быть только Мари Каппель. Такое подозрение показалось виконту настолько невероятным, что он удержал Аллара от ареста Мари и позволил ей беспрепятственно вернуться в Париж, где приемные родители встретили ее вестью, что нашелся богатый жених.

Когда Мари впервые увидела Шарля Лафаржа, он показался ей вульгарным и отталкивающим. Но разъяснения, что у него есть замок, оказалось достаточно, чтобы она смогла подавить свои истинные чувства. Без колебаний согласилась она на немедленный брак. Сразу после его заключения неравная пара в сопровождении Клементины, служанки Мари, покинула Париж. По дороге в Ле Гландье Мари мечтала о том, что наконец она станет владелицей замка и сможет достойно принимать у себя школьных подруг.

Ее разочарование было безграничным: Ле Гландье – это унылый ландшафт, грязные улицы, а вместо замка – полуразрушенное монастырское строение, где все мрачно, сыро, грязно до запустения и загажено крысами, которые даже днем шныряли по комнатам. Мари столкнулась с родственниками мужа, которые внушали ей отвращение своей деревенской бескультурностью и которые со своей стороны встретили незнакомку из Парижа с глубоким недоверием. Вместо вожделенного богатства ее ожидала пугающая тяжесть долгов. В первую ночь по прибытии Мари заперлась с Клементиной в одной из убогих спален и написала своему мужу письмо, где со словами отчаяния заклинала его немедленно дать ей развод, иначе она примет мышьяк, который привезла с собой. Это письмо было следствием столкновения мира ее мечты с реальным миром. Лишь через несколько дней она вроде бы успокоилась. Лафарж, осаждаемый кредиторами, был готов на любые жертвы, только не на развод. Он обязался не искать с ней близости, а также обещал привести в порядок дом, приобрести верховую лошадь и нанять слуг.

В течение последующих недель Мари написала своим родным и подругам письма, которые, если учесть истинную ситуацию, могли вызвать лишь изумление: она с воодушевлением расписывала счастье, которое нашла в Ле Гландье. Казалось, что она смирилась с судьбой и снова занялась своей прежней игрой в обман и самообман. Совершенно неожиданно она перевела на Лафаржа часть своего небольшого состояния и написала рекомендательные письма, с которыми он поехал в Париж, чтобы добыть денег и окончательно выбраться из своего все еще отчаянного положения. Перед отъездом Лафаржа в декабре 1839 г. Мари внезапно и по непонятным мотивам завещала ему все свое имущество и потребовала, чтобы Лафарж в порядке взаимности завещал ей свое, в частности поместье в Ле Гландье. Лафарж исполнил ее желание, но одновременно без ее ведома составил другое завещание, по которому то же самое поместье отказал своей матери.

Пока Шарль находился в Париже и рассылал там все новые рекомендательные письма за подписью Мари, последняя писала ему письма, полные страстной любви. Как знак этой любви она послала ему свой портрет, нарисованный молодой обитательницей их дома в Ле Гландье Анной Брэн. Наконец, она попросила свою свекровь испечь маленькие рождественские пирожки, чтобы Шарль в Париже не остался на праздники без домашних сладостей. В письме она сообщила мужу о посылке ему пирожков и написала, что в знак преданности ему она будет есть на праздники такие же пирожки.

Посылка с пирожками была отослана из Ле Гландье 16 декабря, а 18 декабря она была уже у Лафаржа в отеле «Юнивер», Правда, в посылке не было обещанных маленьких пирожков, испеченных матерью Лафаржа, а был лишь один большой пирог, однако Лафарж не обратил на это внимания и съел кусок. Вскоре после этого у него начались судороги, рвота и понос. Целый день он пролежал в постели, подавленный, с ужасной слабостью в конечностях. Поскольку похожие на холеру случаи рвоты с поносом были в те времена обыденным явлением, Лафарж не обратился к врачу. Испорченный, по всей видимости, пирог он выбросил.

Вернувшись 3 января в Ле Гландье, Шарль чувствовал себя все еще слабым и больным. Но он достал в Париже 28 тысяч франков, и мысль о том, что он сможет оплатить самые неотложные долги, помогла ему забыть о недомогании. Мари сердечно встретила его, уложила в постель и угостила дичью и трюфелями. Сразу после еды у него снова началась «парижская болезнь». Его рвало, и он мучился от ужасных спазм. В ту же ночь вызвали домашнего врача Барду, который признал холеру. У него не вызвало никаких подозрений и то, что Мари попросила его выписать рецепт на мышьяк. Яд был нужен, по ее словам, для уничтожения крыс, которые ночью мешают спать больному.

На следующий день состояние Лафаржа ухудшилось. Судороги икроножных мышц и страшная жажда изводили его, но все, что ему давали пить или есть, вызывало у него рвоту. Все домашние и много родственников собрались возле него: Мари и ее служанка Клементина, мать Лафаржа, его сестры, юная кузина Лафаржа Эмма (единственная из всей семьи, кто встретил Мари с симпатией и даже с восхищением), Анна Брэн, художница, и Дени, секретарь и слуга Шарля. Мари давала больному питье и медикаменты, в особенности лекарство гуммиарабикум, которое она сама якобы охотно употребляла и постоянно носила с собой в маленькой малахитовой шкатулочке. И это ни у кого еще не вызвало подозрений, хотя силы Лафаржа быстро иссякали. 10 января был вызван второй врач – Массена. Он тоже признал в данном случае холеру и прописал для укрепления организма яйца, взбитые с молоком. Когда Мари приготовляла это питье, Анна Брэн заметила, что она взяла из своей малахитовой шкатулочки белый порошок и всыпала его в молоко. На вопрос художницы, что подмешала Мари в лекарство, последовал ответ, что это флердоранжевый сахар. Чуть позже Анна Брэн нашла стакан, из которого больной сделал только один глоток, и заметила белые хлопья, плававшие на поверхности молока.

Ей показалось странным, что сахар не растворился. Движимая пока еще не осознанным подозрением, она показала хлопья доктору Барду. Тот попробовал их на язык, почувствовал какой‑то привкус, но беззаботно объяснил, что это, вероятно, известка, упавшая с потолка в стакан с молоком. Однако это объяснение показалось художнице настолько неправдоподобным, что она заперла остатки этого молока в шкаф. С этого момента она наблюдала за Мари, где только могла. Она заметила, что Мари тайком подмешала белый порошок в постный суп, сваренный матерью Лафаржа. Попробовав его, больной вскричал: «О Мари, что ты мне дала? Жжет, как огонь!» Анна Брэн спрятала остатки этого супа и в конце концов сообщила о своих подозрениях матери Лафаржа, его сестрам и его кузине Эмме.

Вечером 12 января у старых стен Ле Гландье бушевал леденящий вихрь. Выли волки. В окна барабанил дождь. Трудно сейчас представить себе то настроение, какое воцарилось в старом доме с момента, когда к опасениям за жизнь больного прибавилось жгучее подозрение, что он оказался жертвой собственной жены. Мать Лафаржа и его сестры столпились возле больного, а кузина Эмма тем временем поспешила к Мари, чтобы сообщить, какое чудовищное подозрение высказано против нее. Недоверие возросло, когда слуга Лафаржа Дени рассказал женщинам, собравшимся в комнате больного, что Мари посылала 5 января садовника Альфреда, а 8 января – его самого в Люберсак к аптекарю Эйсартье за мышьяковой отравой для крыс. Альфреду она дала для этого с собой рецепт доктора Барду, у самого же Дени рецепта не было, но ему удалось все же достать в Бриве шестьдесят четыре грана мышьяка. Яд он отдал Мари. Услышав это, мать Лафаржа упала на колени у постели сына, умоляя и заклиная его не принимать больше никакой еды из рук жены.

Единственным, кто в этой атмосфере страха и растерянности, казалось, не потерял самообладания, была Мари Лафарж. С высоко поднятой головой вошла она в комнату больного. Она велела позвать садовника Альфреда. Тот подтвердил, что и мышьяк, купленный им самим, и мышьяк, который Дени раздобыл в Бриве, Мари передала ему для изготовления ядовитой пасты против крыс. Пасту он сделал, а остатки яда находятся пока у него. Недоверие вроде бы рассеялось. Но когда на следующий день, 13 января, сестра Лафаржа Алина нашла белый осадок в стакане со сладкой водой, которую Мари приготовила для больного, оно возникло вновь. В бурю и дождь, после ужасной скачки по разбитой дороге в Ле Гландье в ночь с 13 на 14 января прибыл третий врач – Леспинас. Описание симптомов болезни Лафаржа убедило Леспинаса, что больной отравлен. Только мышьяк, объяснил он, способен вызывать такие симптомы. Но спасать умирающего было уже слишком поздно. Через несколько часов, ранним утром 14 января, Шарль Лафарж скончался.

Неописуемое возбуждение охватило жителей Ле Гландье. И опять‑таки лишь один человек сохранял в этой обстановке достоинство и спокойствие – Мари Лафарж. В то время как в округе ширился слух, что она отравила своего супруга, Мари в своей комнате вместе с Клементиной занималась своим туалетом. Она оделась во все черное, разобралась в своих бумагах и… послала своему нотариусу завещание Лафаржа (не ведая, что оно недействительно). Кузина Эмма была единственной из всей семьи, кто искал встречи с Мари и получил доступ в комнату. Раздираемая сомнениями, девушка сообщила ей, что шурин Лафаржа отправился в Брив, дабы заявить на нее мировому судье и приданным ему жандармам. Мари все еще восхищала ее. Вместе с тем Эмма опасалась, не содержится ли в обвинениях против Мари хотя бы зернышка правды. Улучив момент, она унесла к себе малахитовую шкатулочку Мари, боясь, что в ней хранится мышьяк и обнаружение его отягчит участь Мари. Это было проявлением необдуманного порыва молодости. Одновременно с этим садовник Альфред, охваченный паникой, закопал имевшиеся у него остатки мышьяка в дальнем углу сада.

Таково было положение дел, когда мировой судья Моран прибыл 15 января из Брива в Ле Гландье в сопровождении своего писаря Викана и трех жандармов. Мари Лафарж предстала перед этим дельным человеком, но по сравнению с парижанкой все же наивным провинциалом, в состоянии такого глубокого горя, что поначалу им овладело чувство, будто он имеет дело с несправедливо обвиненной молодой женщиной. С некоторым недоверием выслушивал он обвинения со стороны родных покойного и собирал доказательственный материал, сохраненный Анной Брэн, – яйца, взбитые с молоком, постный суп, сладкую воду и, наконец, рвотную массу больного, машинально упаковывая все в коробку. Альфред после недолгого допроса указал место, где закопал остатки мышьяка. Больше того, он рассказал теперь, что получал от Мари Лафарж мышьяк для изготовления пасты против крыс не только 5 января, но и в середине декабря – после того, как она побывала в Люберсаке. Впрочем, крысы игнорировали приготовленную для них ядовитую пасту. Ее все еще можно было найти всюду, где она когда‑то была положена. Моран велел собрать пасту и послал одного из жандармов в Люберсак допросить аптекаря Эйсартье.

Жандарм возвратился с известиями, заставившими Морана полностью изменить свое отношение к Мари Лафарж. Дело в том, что 12 декабря 1839 г. Мари действительно купила довольно большое количество мышьяка. Но ведь через несколько дней в Париж была отправлена посылка с пирогом, после получения которой Лафарж так внезапно заболел! Более того, 2 января 1840 г. Мари снова побывала в Люберсаке и просила дать ей мышьяк «против крыс». 2 января – то есть за день до возвращения Лафаржа из Парижа!

Заинтригованный Моран вызвал к себе врачей, лечивших Лафаржа. Лишь к полудню 16 января Барду, Массена и Леспинас прибыли наконец в Ле Гландье. Моран поручил им вскрыть труп Лафаржа и выяснить причину смерти. Однако при этом он поразил их заявлением, что узнал от друзей, будто в Париже в последнее время нередко удавалось обнаружить мышьяк химическим путем не только в пище, но и в трупе умершего. Удивительных достижений в этой области достигли парижские профессора Девержи и Орфила. Он осведомился, знают ли господа лекари об этом и в состоянии ли они применить соответствующие химические способы исследования по делу Лафаржа. Было заметно, что Барду, Массена и Леспинас смутились, но слишком велика была их гордость, чтобы признаться в своем неведении. После торопливого совещания трех медиков Леспинас ответил, что они, само собой разумеется, готовы провести в Бриве все необходимые исследования. Они лишь считают, что следует привлечь их коллег Лафоса и Д'Альбея, имеющих большой опыт проведения химических исследований.

Так – в указанный выше час и указанным выше образом – на сцене появилась токсикология, которой предстояло привлечь к себе внимание миллионов людей по обе стороны Атлантики.

**2**

*Состояние токсикологии на январь 1840 г. Матье Жозеф Бонавантюр Орфила в Париже. Джеймс Марш и его аппарат.*

Чтобы описать ситуацию, в которой находилось в тот исторический момент то, что называлось «токсикологией», нам следует вернуться немного назад.

«Вырвите яд из‑под покрова тайны, покажите его, и виновная будет повешена!» – воскликнул лет за сто до того Генри Филдинг – человек, создавший в Лондоне учреждение боу‑стрит‑раннеров (сыщиков при полицейском суде на Боу‑стрит). Это восклицание относилось к случаю, когда одна вдова была обвинена своими соседями в том, что отравила своего мужа. Но боу‑стрит‑раннеры не обнаружили в доме вдовы ни яда, ни доказательств того, что обвиняемая когда‑нибудь его приобретала. Оставалось лишь одно – найти следы яда в мертвом теле ее мужа. Однако никто из врачей, к которым обращался Филдинг, не был в состоянии этого сделать.

В те дни как раз минуло тридцать лет с тех пор, как знаменитый нидерландский клиницист Герман Бёрхааве установил, что различные яды, «сгорая или испаряясь», издают столь же различные, специфичные для каждого из них запахи. Поэтому он предложил класть вещества, в которых подозревают наличие яда, на пылающие угли и проверять затем их по запаху. Бёрхааве считается первым из тех, кто попытался решить проблему обнаружения яда химическим способом. Если вообще до него и предпринимались попытки доказать наличие яда, то лишь судебными медиками в ходе производимых ими вскрытий трупов. Эти попытки, однако, были еще далеки от обескураживающих выводов XIX и XX веков о том, что, за редким исключением, нельзя с точностью констатировать отравление на основе одних лишь данных патологоанатомического обследования. Редкие исключения из этого касались только едких ядов, например кислот, вызывающих очевидные разрушения тканей, а также воспалительных ядов (таких, как, например, опасное любовное зелье – порошок «шпанская мушка»), которые приводили к явным изменениям в организме, в частности к разрушению почек.

О мышьяке же всем было известно, что он не имеет особого запаха, и легко может быть подмешан в супы, тесто и напитки. Почти каждый знал также, что симптомы отравления мышьяком мало чем отличаются от симптомов одной из самых распространенных в ту пору болезней – «холера нострас», а у полиции и судей не было средства, чтобы неоспоримо установить, умер ли потерпевший вследствие отравления мышьяком, если только виновный сам не выдавал себя слишком откровенным приобретением яда или если свидетели воочию не наблюдали процесс отравления.

Примерно в 1775 г. принципиальное в этом отношении наблюдение сделал уроженец Штральзунда Карл Вильгельм Шееле, работавший аптекарем в шведском местечке Кёпинг. Шееле установил, что белый мышьяк под воздействием добавленного в него хлора или «царской водки» преобразуется в мышьяковистую кислоту. Если эта кислота приходит в соприкосновение с металлическим цинком, то получается чрезвычайно ядовитый, пахнущий чесноком газ. Тем самым Шееле открыл газообразный мышьяковистый водород, которому вскоре предстояло сыграть решающую роль в токсикологии. Лет через десять Самуэль Ханеман, всемирно известный впоследствии создатель гомеопатии, сделал открытие, что в жидких веществах, где предполагается наличие мышьяка (в том числе – ив содержимом желудка), последний выпадает в виде желтоватого осадка в случае добавления соляной кислоты и сероводорода. Так сероводород стал необходимым реагентом для обнаружения металлических ядов.

В 1787 г. Иоганн Даниэль Мецгер столкнулся с примечательным явлением. Когда он раскалял на древесном угле вещества, в которых предполагалось наличие мышьяка, и держал над возникающими при этом парами медную пластинку, последняя при наличии мышьяка покрывалась беловатым слоем мышьяковистого ангидрида. Если же наполнить этим ангидридом стеклянную пробирку, добавить в нее древесный уголь и нагревать пробирку до тех пор, пока уголь не воспламенится, то пары мышьяковистого ангидрида при прохождении через уголь снова превращаются в мышьяк, который оседает на верхних, более прохладных участках пробирки в виде черных или черно‑коричневых металлических пятен, так называемых бляшек.

Это были первые попытки проникнуть в мир ядов, необъятность которого никто еще не представлял, да и не мог представить. Но один немецкий исследователь – Валентин Розе, асессор Берлинского медицинского общества, – в 1806 г. предпринял первые шаги по выявлению следов мышьяка в человеческом организме, в частности в кишках и стенках желудка, даже в том случае, когда таких следов в содержимом желудка уже не было, ибо яд был уже «ресорбирован стенками желудка». Розе разрезал на куски желудок отравленного и варил его в дистиллированной воде. Полученную кашицу он многократно фильтровал. Затем обрабатывал ее азотной кислотой, ибо последняя казалось ему способной разрушить «органическую материю», то есть самый желудок, и дать искомую субстанцию яда в чистом виде. При этом Розе с помощью углекислого калия и раствора извести получал осадок, который высушивал и по примеру Иоганна Даниэля Мецгера помещал вместе с древесным углем в пробирку. При наличии в этом осадке мышьяковистого ангидрида на стенках пробирки образовывались в результате длительного накаливания металлические бляшки – признаки мышьяка.

Спустя несколько лет путь развития науки приводит нас из Германии во Францию, где жил человек, завоевавший почетный титул «родоначальника токсикологии», – Матье Жозеф Бонавантюр Орфила, который прославился не только своими опытами и открытиями, но в гораздо большей степени своим вкладом в упорядочение и перепроверку проводившихся в самых разных местах экспериментов. Когда двадцатишестилетний Орфила опубликовал в 1813 г. первую часть своего двухтомного труда «Трактат о ядах, или Общая токсикология», он привлек к себе внимание врачей, юристов и полицейских, занимавшихся этой проблемой. Его труд был первым произведением международного значения, охватившим все, что было известно в ту пору о ядах.

Орфила родился в 1787 г. на острове Менорка и согласно воле своего отца должен был пойти служить в испанский торговый флот. Но он рано увлекся химией и медициной и обучался поначалу в Валенсии и Барселоне. Проштудировав работы таких ученых, как Лавуазье и Бертолле, он почувствовал вскоре, что превзошел своих испанских учителей, которые все еще провозглашали давно отжившие тезисы о четырех основных элементах мира: огне, земле, воздухе и воде. Его влекло в Париж, где в 1811 г. он стал доктором медицины. Лишенный средств, но влекомый жгучей страстью к тайнам химии, Орфила оборудовал в своей квартире на улице Круа‑де‑Пти‑Шан лабораторию и с головой ушел в изучение ядов. В двадцатичетырехлетнем возрасте он основал частные курсы по химии ядов, которые благодаря проведению на них экспериментов с животными стали своего рода сенсацией. Такую же сенсацию произвела и упомянутая выше его книга, второй том которой появился в 1815 г. В 1817 г. вышел второй его труд – «Элементы прикладной химии в медицине и в искусстве». К 1819 г. Орфила стал уже профессором медицинской (позднее – судебной) химии Парижского университета. В 1821–1823 гг. вышло еще одно его произведение – «Лекции по судебной медицине». С тех пор он считался первым экспертом Европы по ядам, хотя одновременно с этим занимался и судебной медициной, будучи одним из самых великих ее пионеров. Слава Орфила привела его на высокий пост декана медицинского факультета Парижского университета.

Понятно, что существенная часть работ Орфила была посвящена мышьяку. Орфила выискивал и перепроверял все, что было известно о мышьяке во Франции и за ее пределами. Экспериментируя на собаках, он показал, что из желудка и кишечника мышьяк проникает в печень, селезенку, почки и даже в нервы. Следовательно, если в желудке яда уже не было, следы его можно было искать в печени, селезенке и иных органах. Орфила усовершенствовал метод Валентина Розе. Он обрабатывал азотной кислотой ткань человека или животного до тех пор, пока она полностью не обугливалась. Чем полнее удавалось разрушить материю, впитавшую в себя яд, тем легче было доказать наличие в ней мышьяка. Это относилось и к исследованию содержимого желудка и кишечника, где было подчас так много белковых и жировых частиц, что они не давали выделить мышьяк в чистом виде. Метод Ханемана здесь не годился. Сероводород не мог заставить мышьяк выпасть в виде желтого осадка. Более того, некоторые компоненты желчи выпадали под воздействием сероводорода в виде желтого, растворимого в аммиаке осадка, который можно было принять за мышьяк, хотя там его вовсе не было.

Во избежание чудовищных ошибок Орфила требовал, чтобы при доказывании наличия мышьяка каждый желтый осадок, даже если он растворялся в аммиаке, подвергался повторной проверке. Он считал, что говорить о наличии мышьяка можно лишь тогда, когда желтый осадок в нагретой колбе образовывает металлическую бляшку и когда с помощью реактивов удается доказать, что эта бляшка действительно состоит из мышьяка.

Но как ни велики были достижения Орфила, он постоянно натыкался на препоны, которые не мог преодолеть, и на загадки, которые не мог разрешить. Так, у некоторых животных, которых он на глазах своих учеников отравлял мышьяком, ему, несмотря, на все усилия, не удавалось при вскрытии обнаружить яд нигде. Почему? В чем тут причина? Преобразовывался ли яд в теле? Или же в ряде случаев из‑за рвоты и поносов яд перед смертью выделялся из организма так сильно, что оставшиеся незначительные его следы невозможно было обнаружить существующими методами? Значит, надо искать иные методы, с помощью которых можно было бы обнаружить даже самые мельчайшие следы мышьяка.

Очевидно, из‑за того, что Орфила был лишь великим компилятором и экспериментатором, но первооткрывателем, в сущности, не являлся, новый метод открыл не он, а малоизвестный английский химик, ставший в отчаянии от своей нищеты пьяницей, служащий Британского королевского арсенала в Вулидже, под Лондоном, Джеймс Марш.

В библиотеке арсенала Марш натолкнулся на труды Карла Вильгельма Шееле (умершего за сорок семь лет до этого аптекаря из города Кёпинга), посвященные процессу возникновения мышьяковистого водорода. Выводы, к которым пришел после их изучения Марш, были слишком просты, чтобы прийти в голову людям типа Орфила. Если в содержащую мышьяк жидкость добавить немного серной или соляной кислоты и сверх того цинк, то в результате химической реакции появлялся водород, который соединялся с мышьяком (и с любым его соединением), образуя газообразный мышьяковистый водород. Когда его пропускали через горячую трубку, он снова распадался на водород и мышьяк и металлический мышьяк можно было уловить и собрать. Марш велел изготовить для него стеклянную трубку подковообразной формы, один конец которой был открыт, в то время как другой заканчивался остроконечным стеклянным соплом. В той части трубки, которая заканчивалась соплом, он укрепил кусочек цинка, а в открытый конец трубки наливал проверяемую жидкость (подозрительный раствор или экстракт содержимого желудка), обогащенную кислотой. Когда жидкость достигала цинка, достаточно было даже невообразимо малых следов мышьяка, чтобы образовался мышьяковистый водород, который улетучивался через сопло. Улетучивавшийся газ Марш поджигал, держа против пламени холодное фарфоровое блюдце. Металлический мышьяк оседал на нем в виде черноватых пятнышек на фарфоре. Этот процесс можно было продолжать до тех пор, пока весь мышьяк не удалится из жидкости и не будет собран в блюдце. Данный способ, как оказалось впоследствии, был настолько чувствительным, что даже количество мышьяка порядка одной тысячной доли миллиграмма, введенное в исследуемую жидкость, было заметно на блюдце невооруженным глазом в виде бляшек.

Когда в октябре 1836 г. Джеймс Марш опубликовал в «Эдинбургском философском журнале» статью о своем открытии, он и сам не предполагал, что изобрел способ, который завоюет всю токсикологию, а в качестве метода обнаружения мышьяка станет попросту непреходящим.

Орфила (при всей склонности к суетности, честолюбию и тиранству) был достаточно дальновиден, чтобы первым признать значение аппарата Марша. В Париже разгорелось соперничество за открытие все новых тайн мышьяка с помощью этого аппарата. Врачи и химики, такие, как, например, Девержи, Оливье, Баррюэль и Распай, соревновались с Орфила, который первым устранил некоторые трудности, возникшие при исследовании способом Марша экстрактов желудка, печени, селезенки или иных органов. Такого рода органические экстракты, не очищенные от белка, жира и «другой материи», пенились и тем самым препятствовали образованию газа. Орфила дополнил этот метод обугливанием при помощи азотной кислоты, которая разрушала даже самые стойкие органические соединения и обеспечивала исследуемому материалу высочайшую «чистоту».

Всеобщее возбуждение охватило химиков Парижа, когда в 1838 г. обнаружилось, что аппарат Марша в ходе экспериментов с опытными растворами, не содержавшими мышьяка, тем не менее показывал его наличие. Распай и Орфила нашли этому объяснение. Они установили, что в цинке и серной кислоте, с которыми они работали, содержалась некоторая примесь мышьяка. Таким путем предупредила о себе огромная распространенность мышьяка повсюду в природе – феномен, которым токсикологи будут продолжать заниматься и через сто лет и который задаст им еще не одну загадку. Стало очевидным, что во избежание роковой ошибки, прежде чем проводить исследование на яд, необходимо проверить на содержание мышьяка применяемые для этого химические реактивы. Бывали и другие драматические ситуации, когда в ходе экспериментов с помощью аппарата Марша мышьяк все чаще обнаруживали там, где меньше всего ожидали. Химик Куэрб исследовал кости покойников, которые, без всякого сомнения, не подвергались отравлению мышьяком, и обнаружил… мышьяк. Он сделал тревожное заявление, что мышьяк (пусть даже в незначительных количествах) так распространен в природе, что в качестве естественного компонента содержится даже в человеческом организме. Орфила вынужден был сразу же подтвердить это заявление, однако говорил, что речь идет о следах мышьяка, обнаруженных лишь в костях, но это не относится к обнаружению яда в других органах. Вместе с тем возник вопрос, является ли мышьяк естественным компонентом костей человека или же он появляется в них вследствие посмертных химических процессов?

Не менее напряженная ситуация возникла и при исследовании земли на содержание мышьяка. Аппарат Марша показывал, что во многих местах земля содержит мышьяк, и прежде всего на некоторых кладбищах Парижа. Но если кладбищенская земля содержит в себе этот яд, то не может ли он из нее проникать в захороненные там трупы и при эксгумации по подозрению в отравлении приводить к опасным ошибочным выводам? Не порождал ли аппарат Марша, изобретенный для изобличения убийц‑отравителей, одно заблуждение за другим? Не давал ли он, наконец, убийцам и их адвокатам предлог, с помощью которого они могли бы оспаривать наличие яда в теле их жертв?

Со всей своей энергией и честолюбием Орфила взялся за работу, чтобы внести ясность в эти вопросы. Из больницы Сен‑Луи, из парижских моргов доставляли ему его ученики кости умерших, и Орфила находил новые подтверждения тому, о чем говорил Куэрб. Существовало что‑то вроде «естественного» мышьяка. Но это не удовлетворяло Орфила. А может быть, это тот мышьяк, которым пациентов, впоследствии умерших в больнице Сен‑Луи, лечили от рака или венерических заболеваний? Или покойники при жизни ели хлеб, изготовленный из зерна, которое опрыскивали мышьяком? А может быть, речь идет вовсе не о естественных компонентах человеческого организма, а просто о том, что в природе так много мышьяка, что люди невольно впитывают в себя частицы этого яда и со временем он скапливается у них в костях, не приводя ни к мучениям, ни к смерти от отравления? Орфила раздобыл кости умерших из департамента Сомма, где посевы пшеницы обычно обрабатывались мышьяком, и начал новые, обширные эксперименты. С еще большим пылом он занялся и проблемой кладбищенской земли. Он обнаружил мышьяк в земле кладбища Монпарнас, в земле пашен, на которых пшеница обрабатывалась мышьяковистым ангидридом. Но везде мышьяк превращался в окисленную им известь, нерастворимую в воде и, следовательно, вряд ли способную проникнуть в трупы из влажной почвы кладбищ. Поэтому Орфила пришел к заключению, что мышьяк из кладбищенской земли не может проникнуть в захороненные трупы, тем более если их гробы не повреждены. Он не мог предвидеть, что и более чем через сто лет эта проблема все еще не будет разрешена окончательно, но свое исследование он завершил очень важным для того времени выводом, который доказывает его дальновидность. Перед лицом загадок природы, с которыми мы сталкиваемся повседневно, заявил он, следует рекомендовать в каждом случае исследовать на мышьяк землю вокруг могилы. Если в ней найдут мышьяк, то для решения вопроса о том, мог ли он попасть оттуда в труп, важное значение имеют состояние гроба и возможность соприкосновения трупа с землей, а также величина бляшек мышьяка, появляющихся в воде химического исследования земли и органов покойника. Если бляшка, осевшая из почвы, большая, а осевшая из трупа – маленькая, то нельзя исключить возможность проникновения мышьяка из земли в труп. Только учет всех обстоятельств, а не одних лишь данных химического исследования может обеспечить успех. Таково было состояние токсикологии, когда 16 января 1840 г. следственный судья Моран в Ле Гландье поручил врачам обнаружить тот мышьяк, от которого два дня назад скончался Шарль Лафарж. Настал час, когда изобретению Марша суждено было достичь мировой славы, а токсикологии оказаться в центре внимания мировой общественности.

**3**

*Первый акт драмы Лафарж: врачи и химики из Брива ищут яд в теле покойного. Арест Мари Лафарж. Процесс в Тюлле. Второй акт: мэтр Пайе доказал, что эксперты не знают о существовании аппарата Марша. Новое исследование на яд, проведенное химиками из Лиможа. Аппарат Марша дает отрицательный результат. Третий акт: обвинитель Деку требует проведения совместного исследования тела умершего врачами и химиками из Брива и Лиможа. Торжество «лафаржистов». Вызов Орфила из Парижа. Орфила обнаруживает яд. Не попал ли мышьяк в тело покойного из кладбищенской земли? Вынесение обвинительного приговора Мари Лафарж. Достоверна ли токсикология?*

Не много сообщают хроники об обстоятельствах, при которых доктора Д'Альбей, Массена, Барду, Лафос и Леспинас приступили в Бриве к поискам яда. Но доклад, который они передали следственному судье 22 января 1840 г., освещает эту историю следующим образом.

Доктора ограничились тем, что изъяли из трупа Лафаржа желудок и перевязали его затем с обоих концов толстым шнуром, чтобы не вытекло содержимое. После этого останки покойного были захоронены на Рэйнакском кладбище. Кроме желудка, врачи исследовали и те вещества, которые следственный судья Моран изъял в Ле Гландье. Хотя с 1836 г. прошло четыре года, весть об изобретении Джеймса Марша еще не достигла французской провинции. Все, что почтенным докторам удалось найти в нескольких старых книгах, где речь шла о выявлении мышьяка, сводились к описанию методов, в основном предложенных много десятилетий назад Ханеманом и Розе.

При добавлении в молоко со взбитыми яйцами, в постный суп и сладкую воду раствора сероводорода образовывался крупный желтый осадок, который растворялся в аммиаке. Следовательно, решили врачи, здесь содержится значительное количество мышьяка. Что касается рвотной массы покойника, то она при добавлении сероводорода приобрела легкую желтую окраску. Из этого был сделан вывод, что количество мышьяка в ней слишком незначительно, чтобы его можно было обнаружить. Часть содержимого желудка и часть измельченного желудка врачи Массена и Леспинас обработали азотной кислотой, добавили раствор сероводорода и получили известный уже нам желтый осадок. Этот осадок они поместили вместе с углем в пробирку и стали ее нагревать.

Доклад врачей об этом эксперименте заканчивался словами: «…произошел взрыв, ибо по неосмотрительности пробирка была герметически закупорена, и мы не смогли поэтому получить никакого результата.» Тем не менее они утверждали, что содержавшаяся в желудке жидкость и сам желудок «показывали мышьяковистую кислоту» и что «смерть Шарля Лафаржа наступила в результате отравления мышьяковистой кислотой». Проверка ядовитой пасты против крыс и мышьяка, спрятанного садовником Альфредом, принесла сюрприз. В обоих случаях вообще не было обнаружено никакого мышьяка; вместо него был тоже белый, но безвредный порошок каустической соды.

У следственного судьи было уже столько оснований подозревать Мари Лафарж, что доклад врачей лишь еще больше убедил его в ее вине. Особое внимание он обратил на тот факт, что изготовленная Альфредом паста против крыс не содержала мышьяка. Не следует ли предположить, что Мари Лафарж настоящий мышьяк использовала для умерщвления своего мужа, а ничего не подозревавшему садовнику передала для камуфляжа каустическую соду и муку?! Даже если у Морана еще оставались какие‑то сомнения, то 24 января они исчезли полностью. В этот день в его руки попала малахитовая шкатулочка, в которой Мари Лафарж якобы хранила безвредный порошок гуммиарабикум. Кузина Лафаржа Эмма после нескольких дней внутренней борьбы с собой решилась передать жандармам шкатулку, которую она в свое время забрала к себе, чтобы защитить обожаемую ею Мари. Леспинас раскалил часть содержимого шкатулки на пылающих углях. Появился резкий чесночный запах. Это убедило Леспинаса, что в шкатулке хранится мышьяк.

25 января в Ле Гландье прибыли жандармы, арестовали Мари и препроводили ее вместе со служанкой Клементиной в Бривскую тюрьму. На следующий день все французские газеты впервые опубликовали обширные сообщения о совершенном в Ле Гландье убийстве путем отравления. Приемные родители Мари, исполненные ужаса, пригласили одного из ведущих парижских адвокатов того времени мэтра Пайе, поручив ему всеми средствами защитить Мари от казавшегося им непостижимым обвинения в убийстве.

Но еще до того, как Пайе и его ассистент Бак приступили к работе, произошла новая неожиданность. Виконт де Леото, прочитав сообщения газет, вспомнил о краже бриллиантов в его замке. Подозрение, выдвинутое тогда в отношении Мари шефом Сюртэ Алларом, не казалось ему теперь столь уж абсурдным. Он потребовал обыскать дом в Ле Гландье, а найти там пропавшие бриллианты не составило особого труда. Поставленная перед этим фактом Мари Лафарж снизошла до признания, что драгоценности хранились у нее. Но, заявила она, виконтесса де Леото сама вверила ей эти бриллианты для продажи, ибо остро нуждалась в деньгах, чтобы откупиться от шантажирующего ее тайного любовника по имени Клаве. Эта история, как оказалось вскоре, была одной из тех выдумок Мари Лафарж, которые уже давно стали ее второй натурой. И уже во время приготовлений к процессу по обвинению ее в отравлении своего мужа Мари в начале июля предстала перед бривским судом по обвинению в краже. Она так убедительно притворилась безвинно преследуемой, что многие газеты приняли ее сторону и обвинили во всем виконтессу де Леото. Суд не поддался на эти уловки и приговорил Мари за кражу к двум годам тюрьмы. Это событие – по существу второстепенное – привело к тому, что дело Лафарж стало известным далеко за границами Франции и задолго до начала процесса об убийстве, который должен был состояться не в Бриве, а в Тюлле, где все места в гостиницах этого города и его окрестностей были распроданы. Со всей Европы съехались журналисты и любопытные, чтобы посмотреть, как будут судить Мари Лафарж.

3 сентября 1840 г., в нестерпимо жаркий день, рота солдат окружила здание суда, чтобы сдержать людскую толпу. Те, кого впустили в зал, с любопытством пожирали глазами обвиняемую, которая, несмотря на жару, вошла в зал суда во всем черном, держа в руках флакончик с нюхательной солью. На первый взгляд она являла наблюдавшим столь трогательную картину невиновности, что зрители разделились на два лагеря, из которых один был убежден в невиновности Мари Лафарж еще до того, как началось слушание дела.

Речь представителя обвинения Деку раскрыла большую драму.

Мотивы, побудившие Мари Лафарж к убийству своего мужа, были для него ясны. Примитивный человек, который еще в Париже произвел на нее столь отталкивающее впечатление, ее муж стал для нее невыносимым бременем, когда она узнала истинное положение хозяйственных дел в Ле Гландье. Если ей не хотелось всю жизнь прозябать в Ле Гландье и отказаться от всех своих гордых замыслов, то она должна была от него освободиться. Уже через несколько дней после приезда она приступила к подготовке убийства. Она разыгрывала перед Лафаржем и его окружением постепенно растущую к нему любовь, чтобы избежать подозрений в будущем. Обоюдное завещание представляло собой ход конем ради захвата Ле Гландье после смерти Шарля, чтобы сделать из него солидное поместье и раздобыть себе затем знатного мужа.

«К счастью, – заключил Деку, – благодаря развитию химической науки расследованию отравлений в самое последнее время была оказана помощь прямо‑таки революционного значения. По всей вероятности, обвиняемая не предстала бы перед данным судом, если бы наука удивительным образом не создала возможность устанавливать наличие яда даже там, где до сего дня это для нас исключалось, а именно: в его жертвах, в покойниках». Пришло новое время, закончил Деку, новая пора в расследовании преступлений. Представители этого нового времени – врачи из Брива, знающие химию, – предстанут перед господами судьями и присяжными и помогут восторжествовать справедливости.

Несмотря на эти слова представителя обвинения, дело Лафарж, вероятно, не стало бы еще драматической премьерой токсикологии, если бы и тут случай не сыграл свою роковую роль. Случай же состоял в том, что мэтр Пайе, главный защитник Мари, был одновременно и адвокатом Орфила, прозванного к тому времени в Париже «королем токсикологии».

Пайе очень быстро понял, что против его клиентки имеется много улик, но фактически самая большая опасность состояла в возможности обнаружения яда в теле Шарля Лафаржа. Если судьи и присяжные удостоверятся в наличии яда в теле покойного, тогда Мари почти не на что надеяться. Но если бы удалось поколебать достоверность доказательств наличия яда, Мари, видимо, была бы спасена.

Как только в руках Пайе оказались уточненные данные о химических исследованиях в Бриве, он направился к Орфила за советом. И Орфила дал ему оружие, применить которое на практике так жаждал теперь Пайе. Орфила было нетрудно это сделать. Разве невежество и поверхностность врачей из Брива не сквозили в каждой строке их заключения? Желтый, растворимый в аммиаке осадок? Орфила продемонстрировал Пайе в своей лаборатории желтые осадки, в которых не было ни малейшего следа мышьяка. Он показал ему, что даже выпадение металлических бляшек в колбах еще ни о чем не говорит, если эти пятна не подвергнуть дальнейшей проверке на мышьяк. В Бриве колба, как известно, взорвалась прежде, чем образовались бляшки мышьяка. Кто же при таких обстоятельствах решится утверждать, что там был мышьяк? Такое утверждение считалось бы ересью даже в ту пору, когда знаменитый аппарат Марша еще не был изобретен. Но ныне, в 1840 г., ничего не знать об аппарате Марша и без его помощи пытаться доказать наличие мышьяка было уже просто наглостью. Позже Орфила в письменной форме изложил свою критику экспертизы, проведенной в Бриве, и предоставил это свое заключение в распоряжение Пайе. Д'Альбей и Массена недолго имели возможность наслаждаться вниманием публики, которая не без легкого содрогания впервые узнала о том, как разрезали желудок Лафаржа и «выделяли» из него яд.

Пайе выслушивал их почти с наслаждением. Едва они кончили давать показания, как он вскочил и забросал их, совершенно обескураженных, вопросами. Знают ли они об Орфила? Разумеется, они читали его работы. «Ах, так, – вскричал Пайе, – какие же именно работы? Уж не те ли, что вышли более двадцати лет назад? А не заметили ли господа врачи, что за это время произошла настоящая революция? И слышали ли господа хоть раз о Джеймсе Марше, да‑да – о Джеймсе Марше и его аппарате для обнаружения мышьяка?»

Судьи, присяжные и публика с удивлением взирали, как побледневший Массена признался, что фамилия Марша ему неизвестна. И тут Пайе огласил, подчеркивая каждое слово, заключение Орфила, в котором врачи из Брива обвинялись в невежестве и небрежности. Пайе потребовал вызвать в Тюлль Орфила.

На какой‑то момент воцарилась гнетущая тишина, затем раздались оглушительные аплодисменты.

Председатель суда де Барни с большим трудом восстановил порядок. Случилось то, о чем ранее говорил обвинитель: проблема научных методов обнаружения яда оказалась в центре всего процесса, правда иначе, чем ожидал сам Деку. Бледный от волнения, Деку предложил сделать перерыв в судебном заседании. Когда же оно возобновилось, Деку уже овладел собой. У обвинения, заявил он, так мало сомнений в вине Мари Лафарж, что оно полностью согласно на проведение нового химического исследования на основе методов Орфила и Марша. Но вместе с тем обвинение не считает необходимым беспокоить ученого из Парижа. Он, Деку, позволил себе вызвать из Лиможа обоих аптекарей Дюбуа (отца и сына) и химика Дюпюитрена. Все трое готовы немедленно приступить к исследованию по новым методам.

Пайе тщетно протестовал, снова и снова требуя пригласить Орфила, поскольку провинция уже в достаточной мере доказала свою несостоятельность. Суд тем не менее удовлетворил ходатайство обвинителя. Оба Дюбуа и Дюпюитрен были приглашены, и им было поручено производство новых анализов. «Хорошо же, – воскликнул Пайе, – тогда любопытно было бы узнать, возвратили ли господа Д'Альбей и Массена хотя бы часть переданного им на исследование материала, как того требует во всех случаях исследований на яд Орфила, чтобы оставить возможность для проведения последующих анализов? Вероятно, они все израсходовали?»

Массена, в котором еще бушевало раздражение из‑за понесенного поражения, возмущенно протестовал против нападок Пайе. Он велел принести в зал суда ящик, в котором находились все материалы, как «проверенные», так и «оставленные для последующих проверок». Но к вящему удовлетворению Пайе, Массена вынужден был признаться, что он не в состоянии показать, в каких сосудах находятся еще не использованные части содержимого желудка. Он был вынужден призвать на помощь Барду и Леспинаса. Лишь после долгих пререканий они смогли передать обоим Дюбуа и Дюпюитрену соответствующие сосуды. После чего эксперты из Лиможа, не теряя ни минуты, отправились восвояси. Процесс продолжался. Но было ясно, что сейчас внимание всех сосредоточилось на дальнейшем ходе химических исследований. Публика с нетерпением ждала результатов новых экспериментов.

Наконец, 5 сентября оба Дюбуа и Дюпюитрен вернулись в Тюлль. Когда они вошли в зал суда, никто еще не подозревал, что они, как говорилось в одном газетном репортаже, «принесли с собой сенсацию». Старый Дюбуа, наряженный в несколько провинциальную черную пару, извлек урок из провала бривских врачей. В качестве первого шага он передал суду половину отданного им на исследование материала «на случай, если понадобятся новые эксперименты». Затем он огласил заключение. В Лиможе, как явствовало из него, сосредоточились на исследовании желудка и его содержимого. Дюбуа прочел довольно длинную лекцию об аппарате Марша, чью потрясающую чувствительность он восхвалял (при этом он, правда, умолчал, что он и его коллеги сами построили такой аппарат по описанию и пользовались им в первый раз, то есть не имея даже малейшего опыта).

После такого вступления Дюбуа с торжественным, многообещающим лицом обратился к присяжным. «Мы, – возвестил он, – применили многие виды анализов, прежде всего те, которые указываются в работах господина Орфила». Он описал затем, как они обугливали исследуемую ткань, точно по рецепту Орфила получали экстракты и помещали их в аппарат Марша. Затем торжественным голосом он продолжил: «Хотя мы с величайшим вниманием исследовали все до мельчайших деталей, мы тем не менее не добились положительного результата…» Они не достигли положительного результата, хотя экстракты желудка и его содержимого не меньше часа обрабатывались в аппарате Марша, а сам аппарат беспрестанно охватывало огнем. «В итоге, – подчеркнул Дюбуа, – выяснилось, что предложенный нам для исследования материал не содержит даже малой частицы мышьяка!»

В судебном протоколе об этом моменте сказано так: «Эти заключительные выводы вызвали в аудитории возбуждение, не поддающееся описанию… Мадам Лафарж, молитвенно сложив руки, воздела глаза к небу». Нарочные с вестью о результатах исследования поспешили на ближайший телеграф в Бордо. Токсикология стала, бесспорно, главным объектом газетных заголовков. Пайе «плакал слезами триумфатора».

Однако торжествовать Пайе было еще рано. Для обвинителя поражение было, конечно, неожиданным, но в дни, предшествовавшие заседанию суда, он потратил немало усилий на ознакомление с трудами Орфила и Девержи, чтобы быть во всеоружии. Он знал о том, что при некоторых случаях отравления мышьяком яд удается обнаружить не в желудке, а в печени и других органах. И прежде чем Пайе, охваченный победным настроением, сообразил, в чем дело, Деку несколькими вопросами вовлек старого Дюбуа в спор с проводившими первое исследование экспертами из Брива, чья профессиональная гордость во второй раз была задета заключением Дюбуа. Некоторые реплики Дюбуа раздражали Массена, и наоборот. Это оказалось для обвинителя достаточным поводом, чтобы воскликнуть: «Мы ищем здесь истину, а не удовлетворения самолюбия. Наука нам нужна исключительно в целях правосудия…» Известно ли экспертам, спросил он далее, что в Париже, не обнаружив яда в желудке и его содержимом, ищут его затем в печени и других органах? Независимо от того, известен был этот факт Массена и Дюбуа или нет, ни один из них не был готов в этом признаться. Поэтому, когда Деку с мастерством психолога предложил, чтобы эксперты из Брива и из Лиможа вместе поработали над исследованием других органов Шарля Лафаржа и тем самым предприняли третью попытку отыскать истину, те тут же согласились. Как заявил Деку, он все еще верит, что они в состоянии эту истину найти и что нет нужды обращаться за помощью в Париж. Правда, для этого надо было бы эксгумировать труп Лафаржа, изъять все еще не проверенные органы и передать их экспертам.

Пайе попытался воспрепятствовать обвинителю, но было слишком поздно. «К чему нужна новая экспертиза?» – возражал он и пытался убедить суд, что результаты первого и второго экспериментов лишь внешне противоречат друг другу. Если бы, мол, у врачей из Брива не взорвалась колба, они бы, без сомнения, подобно господам из Лиможа, тоже установили, что никакого мышьяка нет. Однако аргументы Пайе произвели обратное действие, и председатель суда принял решение в пользу ходатайства Деку.

«Лавина новых наук, – писал в тот день корреспондент из Парижа, – пришла в движение. Она не остановится до тех пор, пока истина не выйдет наружу…»

Пока эксперты отправились в Ле Гландье, процесс в буквальном смысле слова медленно пополз дальше. Суд пытался выяснить, каким образом отравленный пирог попал в посылку, отправленную в Париж, и почему в малахитовой шкатулке подсудимой оказался мышьяк. Мари Лафарж заверяла суд в своей невиновности, но не могла дать никакого объяснения насчет того, каким образом, если только не благодаря ей самой, отравленный пирог попал в Париж, а мышьяк – в ее малахитовую шкатулку. Бурные же аплодисменты она сорвала тогда, когда голосом страдалицы уверяла, что, конечно, у нее на этот счет есть некоторые подозрения, но она их не станет высказывать, ибо не хочет никому причинять тех страданий, которые приходится переносить ей самой, после того как ее обвинили по чьему‑то недомыслию. Но в принципе все ожидали только исхода третьей экспертизы.

Врачи из Брива тоже извлекли урок из своего прошлого опыта. Каждый орган, изъятый из трупа Шарля Лафаржа, они укладывали на этот раз в «чистые сосуды». Они спешно изучили самую последнюю публикацию Орфила и не забыли взять пробы земли с кладбища и описать состояние гроба.

8 сентября они вернулись в Тюлль и внесли в зал два обвязанных веревкой ящика, чтобы «суд убедился в надлежащем состоянии материалов». Судебный протокол отмечал: «Стол с ящиками окружили дамы, и даже самым мужественным из них лишь едва удалось скрыть ужас, охвативший их в момент вскрытия ящиков, но непреодолимое любопытство все же победило. По ходатайству экспертов было решено, что химические анализы частично будут проводиться за пределами дворца юстиции – в ротонде. Оба входа в нее находятся под охраной…» Результаты анализов ожидались 9 сентября.

Еще день и ночь! А что, если новые эксперименты подтвердят выводы аптекарей из Лиможа: нет никакого мышьяка? Значит, Мари Лафарж признают невиновной? Все еще пекло солнце, облака пыли стояли на улицах Тюлля… Наконец утром 9 сентября в зале появились врачи и аптекари, предводительствуемые Дюпюитреном. «Глубокая тишина, – отмечалось в судебном протоколе, – обостряла внимание присутствующих. Все взоры были устремлены на Мари Лафарж, которая сохраняла полнейшее спокойствие. Месье Дюпюитрен огласил заключение…»

Объединенными силами врачи и химики обуглили печень Лафаржа и осуществили все необходимое для того, чтобы получить жидкий экстракт. Дюпюитрен подолгу останавливался на описании отдельных процессов. Но затем пришла очередь фразе, которая всколыхнула представителей обвинения, судей, присяжных, защитников и зрителей: «Мы поместили указанную жидкость в аппарат Марша, но не обнаружили никаких следов мышьяка…»

Обратимся к судебному протоколу, чтобы описать воздействие этой фразы: «Всеобщее волнение… длительные аплодисменты. Мадам Лафарж улыбаясь склонилась к своему защитнику, который владел собой хуже, чем она сама; его лицо было мокрым от слез».

После этого Дюпюитрен и его коллеги подвергли части селезенки, легких, сердца, кишечника и мозга обычным манипуляциям и поместили в аппарат Марша. Дюпюитрен повторил: «Мы не нашли никаких следов мышьяка», а Массена добавил: «Сегодня я работал по новому методу с аппаратом Марша, и, подобно моим коллегам, полностью убедился, что яда нет…» Ввиду таких результатов эксперты вообще отказались от исследования проб земли на яд. Пайе вскричал с неописуемым удовлетворением: «Итак, весь труп подвергся анализу, и не найдено ни одного атома мышьяка. Ни одного атома мышьяка! К этому итогу можно было бы прийти много месяцев назад, и никогда бы не было процесса Лафарж». Новость сразу же стала известна на улице. Раздались крики одобрения. На телеграф помчались новые нарочные. Все, исключая Пайе, находились под таким сильным впечатлением от новых результатов, что совсем забыли, по‑видимому, о яде, который при первой экспертизе был обнаружен в напитках, которые Мари Лафарж приготовила своему мужу. Но представитель обвинения об этом яде не забыл. И в тот момент, когда его поражение уже казалось свершившимся фактом, он вернулся к данному вопросу. Было ли это вызвано желанием хоть чем‑то прикрыть свое отступление или же убежденностью в своей правоте и упорной, непоколебимой верой в виновность подсудимой, но он потребовал, чтобы напитки и содержимое малахитовой шкатулки Мари Лафарж тоже «подверглись эксперименту с помощью аппарата Марша». Пайе согласился на это с легким сердцем. Только что пережитый триумф привел его в состояние эйфории, и он не сомневался, что обвинитель движется навстречу полному поражению. Ему казалось невозможным, чтобы эксперты из Брива, только что признавшие свои ошибки, ошиблись снова при анализе напитков и содержимого малахитовой шкатулки. Они ведь уже находили мышьяк там, где его не было! Так как для нового исследования не требовалось таких длительных приготовлений, как для анализов органов, то оно могло быть проведено за несколько часов. Оба Дюбуа принялись за работу. Судебное разбирательство на это время было прервано, а в протоколе отмечено следующее: «Очень растроганная мадам Лафарж удалилась с очаровательной улыбкой, как бы желая поблагодарить собравшихся за столь явную симпатию, проявленную по отношению к ней.»

Опять последовала короткая фаза напряженного ожидания. Но эта напряженность не шла ни в какое сравнение с напряженностью предыдущих дней. Какое‑то подобие опьянения охватило «лафаржистов». После обеда суд собрался снова, чтобы заслушать экспертов.

Они вошли в зал с необычайно мрачными лицами. Дюбуа, самый старший из них, тянул время, не приступая к докладу. Затем он заговорил неуверенным голосом, и то, о чем он сказал, позволило понять, откуда у него такая неуверенность: он и его коллеги всюду обнаружили мышьяковистый ангидрид. В одном лишь взбитом молоке с яйцами его было столько, что, как подавленно признал Дюбуа, им «можно было бы отравить по меньшей мере десять человек».

Представитель обвинения стремительно вскочил со своего стула. «Этот результат, – воскликнул он, – доказывает правильность моей настойчивости!» Первые же «лафаржисты», к которым вернулось хладнокровие, встретили его слова враждебными выкриками. Но Деку не дал сбить себя с толку. Он снова чувствовал почву под ногами и продолжал: «Я остаюсь при своем убеждении, что эта женщина умертвила своего супруга». Но так как научный путь исследования привел к противоречивым результатам, сказал он, то суд обязан теперь использовать последнюю возможность для установления истины. И он потребовал пригласить из Парижа Орфила и предложить ему дать окончательное заключение. Защита, мол, сама много раз мучительно добивалась привлечения Орфила к делу, так что теперь она не будет, видимо, возражать против его вызова.

Пайе и вправду ничего не оставалось, как согласиться. Но сделал он это в твердом убеждении, что Орфила, чьим методам последовали в конце концов эксперты из Брива и Лиможа, не обнаружившие следов мышьяка в трупе, тоже придет к негативным результатам. Мало того, он надеялся, что Орфила даже скорректирует необъяснимые данные относительно яда в напитках. В общей суматохе конный нарочный покинул Тюлль. Он торопился в Бордо, чтобы оттуда пригласить по телеграфу Орфила прибыть в Тюлль. 12 сентября Орфила сообщил, что приедет на следующий день.

Он действительно приехал утром 13 сентября экспрессом. Орфила потребовал, чтобы все эксперты, участвовавшие до него в деле Лафарж, присутствовали при его экспериментах на правах свидетелей. Кроме того, он принял материал исследования и реактивы из рук прежних экспертов, чтобы не возникло подозрение будто он привез с собой из Парижа реактивы, содержащие мышьяк. Во время его работы в одном из залов Дворца юстиции все здание было заперто и охранялось стражей.

Всю ночь с 13 на 14 сентября Орфила проводил эксперименты. Ни одна весть об их ходе не просочилась наружу. Напряжение выливалось даже в протесты перед зданием суда. Наконец к вечеру 14 сентября Орфила появился в судебном зале. Оба Дюбуа, Дюпюитрен и врачи из Брива следовали за ним с опущенными головами.

«Мы пришли, – заявил Орфила, – отчитаться… перед судом». Затем после некоторых предварительных замечаний последовали фразы, заставившие застыть всех в зале: «Я докажу, во‑первых, что в теле Лафаржа есть мышьяк; во‑вторых, что этот мышьяк не мог попасть в него ни из реактивов, которыми мы пользовались, ни из земли, окружавшей гроб; в‑третьих, что найденный нами мышьяк не относится и к тем частицам мышьяка, которые являются естественными компонентами человеческого организма…»

Пайе схватился за голову, просто не в силах постичь, что этот смертельный удар нанес ему Орфила – «его» Орфила. Лишь с трудом воспринимал он дальнейшие слова. Орфила превратил все, что еще оставалось от желудка и его содержимого, в экстракт и поместил его в аппарат Марша. Через короткий промежуток времени стали четко видны бляшки мышьяка. Проба с окисью серебра показала, что налицо действительно мышьяк. Следующим был исследован экстракт, приготовленный из всех еще сохранившихся частей остальных органов – от печени до мозга. На этот раз аппарат Марша показал незначительное число бляшек, но состояли они, без сомнения, из мышьяка. Наконец, Орфила произвел обугливание с помощью азотной кислоты всех остатков, образовавшихся в фильтрах при изготовлении предыдущих экстрактов. Из полученного при этом нового экстракта ему опять удалось получить мышьяк, притом в двенадцать раз больше, чем при предыдущих экспериментах.

Исследование проб почвы не привело к обнаружению мышьяка, так что последний никак не мог попасть в труп из кладбищенской земли. А поскольку естественно содержащийся в человеческом организме мышьяк может быть обнаружен лишь в костях, но не в других органах, то он, как заявил Орфила, никакой роли в деле Лафарж не играет.

В заключение Орфила коснулся результатов, полученных до него врачами и аптекарями из Брива и Лиможа. Что касается первой экспертизы, то она проводилась устаревшими методами. Аппарат же Марша, примененный при следующей экспертизе, является настолько чувствительным прибором, что неопытные лица вначале нередко получают на нем отрицательные результаты. Ведь достаточно, как это случилось у его предшественников, слишком резко зажечь пламя под форсункой, чтобы мышьяк не осел, а улетучился оттуда в виде газа.

Председатель суда де Барни задал единственный вопрос: считает ли Орфила, что размер обнаруженных им бляшек мышьяка достаточен для умерщвления человека? Орфила ответил, что на этот вопрос всегда следует отвечать только с учетом всех иных обстоятельств – симптомов заболевания, факта покупки яда и наличия отравленных напитков. Во всяком случае, при таком подходе ответить на него было бы легче.

Было около семи часов вечера, когда Орфила покинул зал. Де Барни опасался нападений на Орфила «лафаржистов» и поэтому приказал нескольким жандармам охранять его вплоть до отъезда в Париж. Однако шок, вызванный показаниями Орфила, произвел на всех его противников парализующее действие. В судебном протоколе отмечалось: «Такое новое и гибельное развитие этой драматической истории, видимо, повергло всех присутствующих в глубокое изумление». Пайе был не в состоянии дать какие‑либо объяснения тому, что произошло. Мари Лафарж впервые потеряла самообладание: ее удалось под ободряющие возгласы публики отвести назад в тюрьму, но там силы совсем оставили ее, так что процесс пришлось прервать на два дня.

Поскольку Пайе считал бессмысленным апеллировать еще к каким‑нибудь экспертам, чтобы посеять сомнение в выводах Орфила, которого он сам же расхваливал как самого большого авторитета, то местный адвокат Лашо, помогавший Пайе в качестве второго ассистента, спешно, по собственному почину послал из нежного сострадания к Мари Лафарж нарочного в Париж. Он просил Франсуа Распая, который был не только химиком, но и политиком, часто скрещивавшим как либерал клинки с консерватором Орфила и не избегавшим дискуссий с «королем токсикологии», немедленно приехать в Тюлль. Это был бесполезный акт. Распай, правда, откликнулся на призыв, но, когда он выехал из Парижа, шла уже заключительная фаза процесса.

Пайе в отчаянной защитительной речи пытался доказать, будто Мари Лафарж настолько благородная натура, что в ее душе не могла зародиться мысль об убийстве. Пока с улицы в зал доносились неистовые требования дождаться приезда из Парижа Распая, судьи и присяжные вечером 19 сентября удалились для совещания. Через час присяжные признали Мари Лафарж виновной, а за полчаса до полуночи суд вынес приговор, гласивший: «Пожизненная каторга».

Как раз в это время в Тюлль прибыл Распай.

Его ожидала толпа «лафаржистов». Они угрожали нарочному расправиться с ним за то, что тот слишком поздно доставил Распай. Самому Распаю не оставалось ничего другого, как осмотреть фарфоровую тарелку с бляшками мышьяка, которую ему с готовностью показали, и вернуться назад в Париж, не оказав никакого влияния на судьбу Мари Лафарж.

Король Луи‑Филипп заменил ей каторгу пожизненным тюремным заключением. В октябре 1841 г. она была переведена в тюрьму Монпелье. Там она пробыла десять лет и написала мемуары. Наконец ввиду тяжелого легочного заболевания она была выпущена на свободу, а через несколько месяцев умерла, до последнего вздоха настаивая на своей невиновности. Между тем Бак, ассистент ее защитника Пайе, долгое время сам веривший в ее невиновность и делавший все, чтобы ее спасти, бросив после этого ретроспективный взгляд на драму Мари Лафарж, заявил: «Думайте о ней так плохо, как только можете. Но даже и тогда, вероятно, это не будет для нее чересчур».

В первые годы после процесса далеко не все верили в объективность приговора. Борьба между «лафаржистами» и «антилафаржистами» продолжала бушевать. Во Франции и в различных странах Европы были опубликованы многочисленные памфлеты и книги. Их заглавия свидетельствовали, с какой ожесточенностью противники сталкивались между собой. У одних значилось: «Ловкая похитительница бриллиантов и подлая отравительница», у других: «Мари Лафарж невиновна».

Так как сутью судебного процесса были доказательства наличия или отсутствия яда и новая наука токсикология, то естественно, что они оказались и в центре последующей борьбы. Там, где в ходе процесса их значение не дошло до сознания общественности, они привлекли к себе внимание именно благодаря этой борьбе. В дни великих поисков неизвестного и неразведанного, чем как раз и была отмечена первая половина XIX в., взоры многих врачей, химиков и фармацевтов обратились к новой, пока еще такой таинственной области, ставшей ареной жарких споров, – к науке о ядах. Молодые химики устремились в Париж, чтобы стать учениками Орфила и других французских токсикологов. Наступил век научной судебной токсикологии.

**4**

*Открытие ядовитых растительных алкалоидов. От морфия до атропина. 1850 г. – первые реактивы, помогающие в обнаружении алкалоидов. Скептицизм Орфила.*

В ту пору, когда широкое развитие судебной токсикологии только начиналось, исследователи ядов уже в какой‑то степени почувствовали неумолимость закона, которому эта наука подчинена (пожалуй, еще больше, чем судебная медицина) и останется подчинена даже спустя столетие. Они научились понимать, что хотя каждый шаг вперед приносил успех и проливал свет на неразгаданные ранее тайны, но за то время, пока они раскрывали загадку одной группы ядов, их собственные учителя – естественные науки открывали все новые яды либо даже создавали их.

Еще Орфила, исследуя в основном металлические и минеральные яды, обратил внимание на некоторые растительные яды, известные человечеству если не несколько тысячелетий, то по крайне мере несколько веков. Но пока шла борьба за разработку методов обнаружения мышьяка и (примерно в то же самое время) обнаружения сурьмы, свинца, ртути, фосфора, серы и многих других металломинеральных ядов, которая привела к эпохальным успехам, небольшая вначале группа известных растительных ядов разрослась до размеров огромного, окутанного тайной мира.

Начало изучению этих ядов положил немецкий аптекарь Зертюнер, когда в 1803 г. выделил из опиума морфий. В последующие десятилетия естествоиспытатели и фармацевты выделяли – в первую очередь из экзотических растений – постоянно растущее число ядов. Так как эти яды имели единый для всех них базисный характер – были подобны щелочам, то они получили общее название алкалоидов. Все растительные алкалоиды оказывают воздействие на нервную систему человека и животных: в малых дозах действуют как лекарство, в более значительных – как смертельный яд. В 1818 г. Каванту и Пелетье выделили из рвотного ореха смертоносный стрихнин. В 1820 г. Десос нашел хинин в коре хинного дерева, а Рунге – кофеин в кофе. В 1826 г. Гизекке открыл кониин в болиголове. В 1828 г. Поссель и Райман выделили никотин из табака, а Майн в 1831 г. получил атропин из белладонны. Своего открытия еще ждали примерно две тысячи различных растительных алкалоидов – от кокаина, гиосциамина, гиосцина и колхицина до аконитина. Прошло некоторое время, пока первые алкалоиды пробили себе дорогу из небольших еще лабораторий и кабинетов ученых к врачам, химикам и аптекарям, а затем и к более широкому кругу людей. Само собой получилось так, что поначалу не только их целебными, но и ядовитыми свойствами воспользовались именно врачи. Но довольно скоро эти яды оказались и совсем в других руках, что повлекло за собой постоянный рост числа совершаемых при их помощи убийств и самоубийств. Однако каждое убийство и самоубийство лишний раз доказывало, что растительные яды приводят к смерти, не оставляя, в отличие от мышьяка и других металломинеральных ядов, никаких следов в организме умершего, которые можно было бы обнаружить.

Правда, к 1850 г. токсикологам удалось найти некоторые химические реактивы, с помощью которых можно было доказать наличие алкалоидов, если они были в виде чистого вещества или относительно «чистых растворов». Дубильная кислота, сулема и другие реактивы образовывали в таких растворах осадки или вызывали некоторое их помутнение. После большого числа опытов были открыты реактивы, вызывающие в присутствии алкалоидов характерные изменения окраски. Стоило, например, добавить несколько капель азотной кислоты в раствор морфия, как он тотчас же окрашивался в красный цвет. Но где и когда при подозрительных случаях смерти можно было встретить в чистом виде вещество примененного для убийства растительного яда? Где и когда обнаруживали этот яд в напитках или им подобных растворах? Почти всегда растительные алкалоиды оказывались спрятанными глубоко в теле мертвеца, «утопленными» в его органах, в «животной материи», как часто говаривал Орфила. И всякий раз снова специалисты сталкивались с невозможностью выделить из этой материи растительные яды, что удавалось сделать с мышьяком и другими металломинеральными ядами. Если разрушали «животную материю», подобно тому как это делали, скажем, с мышьяком, то вместе с ней разрушались и растительные алкалоиды.

Еще в 1847 г. стареющий Орфила после бесчисленных экспериментов на животных, которым были введены растительные алкалоиды, жаловался, что, видимо, никогда нельзя будет разгадать тайну смерти тех, кто стал жертвой растительных ядов. Он не мог тогда знать, что лишь три года отделяют его и его современников от открытия, которое революционизирует токсикологию еще больше, чем аппарат Марша, и тем самым приобретет непреходящее значение.

**5**

*1850 г. – убийство, совершенное Бокармэ, и открытие способа обнаружения растительных алкалоидов. Туманные обстоятельства смерти Гюстава Фуньи. Следственный судья из Монса едет в Брюссель. Жан Сервэ Стас открывает метод выделения из человеческого организма алкалоидов. 1851 г. – Стас доказывает, что Гюстав Фуньи был отравлен растительным алкалоидом – никотином. Сенсационный процесс Бокармэ. Признание вины и приговор.*

Вечером 21 ноября 1850 г. к пастору общины Бюри, расположенной между бельгийскими городами Моне и Турнэ, явилась необычная группа посетителей – три девушки и один молодой человек. Пастор узнал их сразу же, как только на них, робких и взволнованных, упал свет его лампы. Это были кучер Жиль, горничная Эммеранс Брикур и две няни – Жюстина Тибо и Виржиния Шевалье. Все они принадлежали к прислуге близлежащего замка Битремон. Мучимые угрызениями совести, они пришли к пастору за советом. Накануне, 20 ноября после полудня, в старом, защищенном стенами замке произошли напугавшие их всех события.

То, что поведала Эммеранс Брикур, говоря от имени всех, было довольно‑таки необычно – необычно даже для замка Битремон, обитатели которого уже давно считались в округе образчиками беспутной жизни. Многочисленные окрестные жители недаром верили в рассказы о том, что ныне едва достигший тридцати лет хозяин замка граф Ипполит Визар де Бокармэ в юности был вскормлен львицей и вместе с ее молоком к нему перешла вся звериная дикость кормилицы.

Бокармэ был сыном нидерландского наместника на Яве и его жены‑бельгийки. Родился он в открытом море, на борту фрегата «Эуримус Маринус», когда тот пробивался сквозь шторм в Восточную Азию. Последовавшее затем пребывание в Соединенных Штатах, где его отец занимался разведением табака и охотой, привело к тому, что он порядком одичал. По возвращении в Старый Свет он с большим трудом научился читать и писать. Но в конце концов молодой Бокармэ заинтересовался естественными науками, сельским хозяйством и взял в свои руки управление замком Битремон.

Чтобы улучшить свое материальное положение, Бокармэ в 1843 г. женился на Лидии Фуньи, располагавшей, по его предположениям, большими денежными средствами. Отец Лидии – аптекарь в Перувельце – был эгоистичным неудачником, который обоих своих детей – дочь Лидию и болезненного сына Гюстава – воспитал в «уважении к высшему обществу», в особенности к благородным титулам. Лишь после свадьбы графа Бокармэ с Лидией выяснилось, что состояние Фуньи было в значительной мере переоценено. Новоиспеченная графиня обладала только ежегодной рентой в 2000 франков, которых заведомо не хватало для чрезмерных запросов молодой графской четы.

Через несколько лет хозяйство замка пришло в упадок, а дикие кутежи, оргии, охотничьи забавы и целая толпа челяди породили все возрастающее бремя долгов. Раздоры между графом и графиней сменялись приступами безумной страсти, а затем вспыхивали вновь. Правда, после смерти старика Фуньи рента графини поднялась до 5 тыс. франков в год, но и от этого было не больше толку, чем от капель воды, пролитых на раскаленный камень. Только кое‑какие доходы от поместья давали возможность покрывать самые срочные долги. Но в 1849 г. и эта возможность была исчерпана. Положение стало настолько отчаянным, что Бокармэ занимал деньги у прислуги. Последнюю свою надежду графская чета возлагала на смерть брата Лидии Гюстава, которому в свое время досталась основная часть наследства отца: если он умрет холостым, наследницей его состояния станет графиня.

В свое время Гюставу ампутировали голень, и он продолжал тяжело болеть. Передвигаться он мог только на костылях. Поэтому расчеты на его быстрый конец были небеспочвенными. Но весной 1850 г. вдруг распространился слух, что Гюстав собирается жениться. И в самом деле, оказалось, что он купил у обедневшей дворянской семьи замок Гранмец и помолвлен с его владелицей мадемуазель де Дюдзеш. К началу ноября стало совершенно ясно, что вот‑вот состоится их бракосочетание – и тем самым крах всех надежд супругов Бокармэ заполучить состояние Гюстава Фуньи.

Но в тот вечер 21 ноября, когда пастор из Бюри слушал рассказ Эммеранс Брикур о невероятных и ужасных событиях, Гюстава Фуньи уже более двадцати четырех часов не волновала предстоящая свадьба. Ему было не до женитьбы – он был мертв.

Со второй половины 20 ноября голый труп его лежал в комнате Эммеранс, с порезами на щеках и сожженным до черноты ртом.

История, поведанная Эммеранс, выглядела следующим образом: утром 20 ноября посыльный известил супругов Бокармэ, что к обеду в замок прибудет Гюстав, дабы сообщить родственникам о своей предстоящей свадьбе. После этого произошли несколько необычные события. Графских детей, которые обычно вместе с бонной обедали в большой столовой, в этот день накормили на кухне. По прибытии Гюстава графиня сама подавала блюда на стол. Вскоре после раннего в эту пору наступления темноты до Эммеранс из столовой донесся какой‑то шум – как будто кто‑то свалился на пол. Вслед за этим раздался приглушенный вскрик Гюстава Фуньи: «Ах‑ах, пардон, Ипполит…» Эммеранс поспешила в столовую, но при входе в нее столкнулась с графиней, которая быстро закрыла за собой дверь. Графиня побежала на кухню и вернулась в зал с сосудами, полными горячей воды. И сразу же стала звать на помощь Эммеранс и кучера Жиля. «Гюставу вдруг стало плохо, – объясняла она, – идите, помогите нам. По‑моему, он мертв. Его хватил удар».

Слуги застали Гюстава лежащим на полу столовой без признаков жизни. Граф Бокармэ, напротив, находился в состоянии чрезвычайного возбуждения. Он вымыл свои руки, которые были в крови. Затем велел Жилю принести из особой бочки в подвале винный уксус и снять одежду с умершего. Стаканами лил он уксус в рот Гюстава и распорядился, чтобы все его тело тоже полили уксусом. Графиня отнесла одежду брата в домашнюю прачечную и бросила ее в кипящую мыльную воду. Все это время от Жиля требовали, чтобы он снова и снова поливал покойника винным уксусом. Позже Жиль перенес труп в комнату Эммеранс и положил на ее кровать.

Полночи графиня занималась тем, что с мылом мыла пол в столовой – в том месте, где умер Гюстав; она также помыла, а затем сожгла его костыли. Ранним утром появился граф с ножом и принялся скоблить доски пола. Эта возня продолжалась до полудня. Лишь затем совершенно обессилевшая графская чета улеглась в постели, а слуги, собравшись с духом, отправились в Бюри. И вот они здесь и спрашивают пастора: «Ради Христа, скажите, что нам делать?»

К большому облегчению пастора, ему не пришлось отвечать на этот вопрос. Не успела Эммеранс закончить свой рассказ, как появился общинный писарь и сообщил, что следственный судья из Турнэ обещал приехать завтра. До Турнэ, видимо, дошли слухи, что Гюстав Фуньи умер насильственной смертью. Правда, следственный судья не верил им, но решил исполнить свой долг и провести быстрое расследование.

Под вечер 22 ноября в Бюри прибыл следственный судья Эгебэр с тремя жандармами, хирургами Марузе, Зудом и Коссом, а также писарем. Сомнения Эгебэра в правдивости слухов были столь велики, что жандармов он оставил в Бюри и отправился в замок лишь в сопровождении писаря и врачей. Однако там его сомнения очень быстро сменились глубокими подозрениями. Бокармэ хитрил. Прошло много времени, прежде чем он появился. Камин столовой был забит пеплом, в котором еще можно было различить остатки сгоревших книг и бумаг. На полу столовой валялись соскобленные с него стружки.

Эгебэра неохотно подпустили к покойнику. Графиня отказывалась открыть занавески, затемнявшие комнату. Следственный судья сам отдернул их и сразу же увидел израненное лицо Гюстава Фуньи. Бокармэ тщетно пытался скрыть кровоподтеки и раны на своих руках. «Мне будто что‑то ударило в голову», – признался позже следственный судья. Он приказал врачам тут же произвести вскрытие трупа и установить, умер покойник естественной смертью или нет.

Врачи велели отнести Гюстава Фуньи в каретный сарай и через два часа сообщили результаты проведенного ими исследования. Мозг Гюстава они нашли в совершенно здоровом состоянии. Поэтому не могло быть речи о том, что с ним случился удар. Рот, язык, горло и желудок умершего, наоборот, претерпели столь сильные изменения, что врачи пришли к выводу, что Гюстав Фуньи скончался вследствие вливания ему внутрь едкой жидкости. Они допускали, что при этом была применена серная кислота.

«Смерть, – заявили они, – наступила в результате продолжительных и очень сильных болей, вызванных выжиганием рта и глотки».

Эгебэр распорядился изъять все органы умершего, которые могли понадобиться для химического исследования примененных кислот. Он сам наблюдал, как врачи укладывали в сосуды язык и гортань, желудок и кишечник с их содержимым, а также печень и легкие покойного, а затем залили все это чистым спиртом и запечатали сосуды. Судебному писарю и одному из жандармов поручили незамедлительно доставить сосуды в Турнэ. Два других жандарма взяли под арест графа и графиню Бокармэ.

Сразу же по возвращении в Турнэ Эгебэр нанял экипаж с быстрыми лошадьми, погрузил объекты исследования и помчался с ними в Брюссель, в Военную школу, где с 1840 г. преподавал химию один профессор, фамилию которого следственный судья узнал случайно – при чтении химического журнала. Его звали Жан Сервэ Стас.

Стасу было тридцать семь лет, когда Эгебэр возложил на него задачу, выполнение которой сулило ему непреходящую славу. Фламандец по происхождению, Стас поначалу изучал медицину и химию в своем родном городе Левене. Вскоре, однако, знаний тамошнего профессора химии ему стало недостаточно. И он устроил на чердаке родительского дома крохотную лабораторию, приборы для которой изготовил сам. Среди них были примитивные весы из металла, стекла и сургуча, на которых можно было взвешивать миллиграммы. До конца своей долгой жизни Стас хранил эти весы как талисман. В той чердачной лаборатории он и стал первооткрывателем фло‑ризина. Это достижение дало великому шведскому химику Берцелиусу повод заметить: «Надо обратить внимание на химика, который дебютирует такой работой». В 1835 г. Стас, как и многие его современники, направился в Париж к таким ученым, как Гей‑Люссак, Араго, Дюма и Орфила. Он заинтересовал Дюма, и именно Дюма он должен быть благодарен за то, что, почти лишенный средств, смог около четырех лет работать в лабораториях, в которых ему открылся удивительный мир химии. Именно здесь он решился поправить даже Берцелиуса, который в свое время неправильно определил атомный вес углерода.

В тот день, когда Эгебэр прибыл в Брюссель, Стас еще работал на Рю‑де‑Шан. Именно здесь ему удалось в период с начала декабря 1850 г. по конец февраля 1851 г. сделать второе эпохальное открытие в токсикологии: разработать метод обнаружения растительных ядов – алкалоидов в телах умерших.

Когда Стасу были переданы дня исследования материалы из Битремона, никто даже не подозревал, что Гюстав Фуньи мог быть умерщвлен с помощью какого‑нибудь растительного яда. Эгебэр сообщил Стасу о серной кислоте как возможном орудии убийства.

Так как едкие яды были к тому времени достаточно исследованы, Стас без труда смог установить, что в данном случае не может быть и речи об отравлении серной кислотой. Подобно большинству своих современников и коллег, он за неимением других возможностей обнаружения химикалиев и их паров тысячекратно пробовал их на запах и вкус. Если верить чувствительности его носа, то в лучшем случае здесь применялась лишь одна кислота – уксусная. Когда Стас высказал это предположение, Эгебэр сообщил ему, что покойника омывали и поливали винным уксусом. Тогда впервые у Стаса возникло подозрение, что использование больших количеств уксуса должно было скрыть признаки действия другого яда. И все же в первую очередь он направил свои усилия на то, чтобы обнаружить уксусную кислоту во рту и в органах пищеварения покойного. Но возникшее у него подозрение заставило его действовать с такой осмотрительностью, которую последующим поколениям даже трудно себе представить. Он слишком часто убеждался на собственном опыте, как легко разлагаются яды под действием жары и воздуха, прежде чем их обнаружат. Чтобы не утратить и не разрушить ничего из присланного ему материала, он проводил большинство выпариваний и перегонок в сложных закрытых аппаратах.

Переданное ему содержимое желудка, кишечника и мочевого пузыря, смешанное со спиртом, состояло из черновато‑серой кашицы. Половину ее Стас отделил для возможных экспериментов в будущем. Другую же половину он смешал с водой, которую использовал для промывания желудочно‑кишечного тракта, затем неоднократно профильтровал этот раствор, подогрел и дистиллировал его. Таким путем он получил жидкость красновато‑коричневого цвета. Ее он разделил на несколько порций для проб. Одну из этих порций он выпарил до состояния сиропа, издававшего неимоверно острый уксусный запах. Разбавив две другие пробные порции едким кали, Стас вдруг прервал работу. От обеих проб исходил слабый запах, напоминавший запах мышиной мочи. Но с этим запахом химики встречались всякий раз, когда имели дело с кониином – ядовитым алкалоидом болиголова. Подозрения Стаса, что уксусная кислота послужила лишь для маскировки убийства при помощи какого‑то гораздо более таинственного яда, усилились.

А что, если Гюстав Фуньи убит с помощью растительного яда? Что, если в теле умершего один из тех ядов, которые до сих пор никогда не удавалось обнаружить в мертвом теле? Что, если случай навел его здесь на след алкалоида?

С этого момента Стас дни и ночи проводил в своей лаборатории, не спуская глаз со своих реторт, тиглей, реактивов и пробирок.

Следующую пробную порцию он разбавил большим количеством спирта, профильтровал, слил, добавил воды, снова профильтровал и дал фильтрату испаряться до тех пор, пока раствор не приобрел клейкую консистенцию. Тогда он добавил к нему раствор кали, и вдруг вновь появился тот особенно запомнившийся, быстро проходящий запах. Но на этот раз он был более острым, более едким и более одурманивающим. К тому времени были известны только два растительных алкалоида, которые при случае распознавали по их запаху: кониин и никотин (чрезвычайно ядовитый компонент табака, 50 миллиграммов которого достаточно, чтобы человек умер в течение нескольких минут). А летучий, едкий запах, который уловил Стас, – разве он не напоминал отчетливо запах того же никотина?

Обозначившаяся возможность правильного решения поначалу показалась Стасу такой новой, а само решение таким необычным и смелым, что он от него отмахнулся. Но исключить не смог. Все же не никотин ли это? Не от никотина ли умер Гюстав Фуньи?

Стас поместил часть пробного экстракта в бутылку и добавил туда чистый эфир. Взболтав все это, он дал полученной эмульсии отстояться до тех пор, пока эфир не отделился; Затем он отлил половину эфира и дал ему испариться с маленького блюдца. На донышке блюдца осталось тонкое коричневатое кольцо с едким, хорошо узнаваемым запахом табака. Когда крошечное количество этого вещества Стас попробовал на язык, он почувствовал жгучий привкус табака, который распространился по всему рту и держался в течение многих часов. После повторных «взбалтываний» частей исследуемого вещества с эфиром, которые все время давали тот же результат, он смешал исходный раствор массы из содержимого желудка, кишечника и мочевого пузыря с едким кали. В ставший от этого щелочным раствор он добавил такое же количество эфира и взбалтывал все до образования эмульсии. Но на этот раз он напрасно ждал отделения эфира. Лишь когда Стас догадался, что в растворе еще находятся остатки «животной материи», и устранил их путем промываний водой и спиртом и фильтрования, произошло отделение эфира. Так как, по всей видимости, именно эфир поглощал вещество со жгучим запахом табака, то Стас шесть раз повторил взбалтывание исходного материала с эфиром, чтобы избежать возможных ошибок. Каждый раз путем испарения он получал маслянистое вещество с характерным для никотина запахом и вкусом.

Чтобы удостовериться, что получен именно никотин, Стас подверг маслянистое вещество действию химических реактивов, которые со времени открытия никотина были испытаны различными фармакологами на чистом веществе алкалоида. Если, например, стеклянную палочку, смоченную в соляной кислоте, приближали к никотину, то образовывались сильные белые пары. При соприкосновении же с азотной кислотой никотин превращался в густую желтую массу. Стас не удовлетворился известными уже реактивами. Он смешивал чистый никотин с самыми различными химикалиями, констатируя осадки, образование кристаллов, изменения в цвете, и сравнивал их с действием, которое те же химикалии вызывали в маслянистом веществе, полученном им из содержимого внутренностей Гюстава Фуньи. В каждом случае все полностью совпадало.

Лишь только после этого Стас наполнил своим маслянистым экстрактом колбу и, снабдив ее надписью: «Никотин из органов Гюстава Фуньи», переслал Эгебэру в Турнэ. В сопроводительном письме он рекомендовал следственному судье проверить, не занимались ли когда‑либо граф и графиня Бокармэ специально никотином, а также не приобретали ли они никотин, и просил уведомить его о результатах проверки.

Эгебэр получил посылку Стаса 30 ноября. Он тотчас помчался с несколькими жандармами в Битремон, велел обыскать там все помещения и предпринял новый допрос прислуги. В ходе допроса садовник Деблики, кстати человек весьма ограниченный, сообщил, что летом и осенью 1850 г. он помогал графу в изготовлении одеколона. Для этой цели Бокармэ купил большое количество табачных листьев и переработал их в оснащенной множеством аппаратов лаборатории, устроенной в бане замка.

«Табак для изготовления одеколона?» – переспросил Эгебэр. «Да, табак, – заверил его Деблики, – много табачных листьев». Оказывается, граф главным образом в период с 28 октября по 10 ноября изо дня в день, а иной раз и ночью работал в бане, чтобы из табачной жижи экстрагировать одеколон. 10 ноября он запер одеколон в столовой в шкафу. На другой день из бани исчезли все аппараты для перегонки и стеклянные колбы, которые он использовал во время работы. Граф, должно быть, сам увез их куда‑то, ибо ни садовнику, ни кому‑либо другому из челяди это не поручалось. Обыск всего замка жандармами и Эгебэром сам по себе сначала не привел к обнаружению хоть каких‑то следов лабораторных приборов. Зато следственный судья получил важные сведения от кучера Жиля: в феврале 1850 г. Бокармэ ездил в Гент к какому‑то профессору химии. Больше Жиль ничего об этом не знал. Эгебэр тотчас поехал в Гент. Он опросил всех химиков, которые жили в этом городе, и наконец натолкнулся на профессора Лопперса, преподававшего в Гентском индустриальном училище. Лопперс вспомнил, что начиная с февраля текущего года его неоднократно посещал некий господин из Бюри, по описанию внешности совпадавший с Бокармэ. Правда, он представился как Беран и под той же фамилией переписывался с Лопперсом. Все его письма касались исключительно проблемы извлечения никотина из табачных листьев.

Когда Бокармэ‑Беран в феврале нанес свой первый визит Лопперсу, он объяснил, что приехал из Америки. Его тамошние родственники очень страдают от нападений индейцев, отравляющих свои стрелы растительными ядами. Он, Беран, хотел бы изучить все известные растительные яды, чтобы по возможности быть полезным своим родным. Он хотел бы также знать, правда ли, что растительные яды не оставляют в теле отравленного никаких следов, которые можно было бы обнаружить? Получив от Лопперса утвердительный ответ на этот вопрос, Беран распрощался, но в том же месяце опять вернулся в Гент.

На этот раз он сказал Лопперсу, что индейцы изготовляют экстракт из табачных листьев, который убивает в течение нескольких минут. В Европе этот экстракт называют никотином. Он хотел бы попытаться сам сделать такой экстракт, чтобы изучить его действие. Лопперс продемонстрировал ему метод получения никотина и рекомендовал медика Ванденберге и аптекаря Ванбенкелера в Брюсселе как поставщиков необходимых сосудов и аппаратов. Ванденберге и Ванбенкелер подтвердили следственному судье, что за период до ноября они отправили в Бюри сто двадцать различных химических аппаратов и сосудов. В мае Бокармэ в третий раз приехал в Гент, чтобы показать Лопперосу первую полученную им пробу никотина. Это был еще не чистый экстракт. Но к октябрю Бокармэ добился такого значительного прогресса, что показал Лопперсу первую порцию чистого никотина и сообщил, что ему удалось отравить им кошек и уток.

Пока Эгебэр в течение нескольких дней носился из Бюри в Турнэ, Брюссель, Гент, обратно в Бюри и, наконец, 2 декабря приехал опять в Брюссель, чтобы о результатах своих поисков информировать Стаса, последний и сам ни минуты не терял даром. Он уяснил себе принцип метода, с помощью которого ему впервые удалось обнаружить растительный алкалоид во внутренностях убитого человека. Затем он сосредоточился на отыскании никотина также и в самих органах Фуньи, в частности в его печени, легких, языке и гортани. Метод Стаса можно теперь, когда он уже открыт, легко объяснить.

Все растительные яды растворимы как в воде, так и в спирте. В противоположность этому почти все субстанции человеческого организма – от белков и жиров до целлюлозы содержимого желудка и кишечника – не растворимы ни в воде, ни в спирте, ни в них обоих вместе. Если смешать органы человека (после того как они измельчены и превращены в кашицу) или их содержимое с большим количеством спирта, в который добавлена кислота, то такой подкисленный спирт способен проникнуть в массу исследуемого материала, растворяя растительные яды – алкалоиды – и вступая с ними в соединения.

Именно в таком виде случайно оказался переданный Стасу на исследование материал вследствие его хранения в спирту и вследствие переувлажнения трупа уксусной кислотой. Если подвергнуть пропитанную спиртом кашицу фильтрации и дать спирту стечь, то он унесет с собой, помимо сахара, слизи и других веществ человеческого организма, растворенных в спирте, и ядовитые алкалоиды, оставив только те вещества, которые в нем нерастворимы. Если же неоднократно смешивать этот остаток веществ со свежим спиртом и повторять фильтрацию до тех пор, пока спирт не станет больше ничего из него впитывать, а будет стекать чистым, то можно быть уверенным, что подавляющее большинство ядовитых алкалоидов, находившихся в кашице из измельченных органов умершего, перешло в спирт. Если затем выпаривать спиртовой фильтрат до сиропообразного состояния, обработать этот сироп водой и полученный таким путем раствор неоднократно профильтровать, то на фильтре останутся те компоненты человеческого тела, которые не растворимы в воде, например жир и т. п., в то время как алкалоиды вследствие своей растворимости в воде стекут вместе с ней. Чтобы получить еще более чистые, свободные от «животных» субстанций растворы искомых ядов, можно и нужно (как вскоре стало ясно Стасу) полученный водянистый экстракт выпаривать повторно и заново обрабатывать спиртом и водой, пока наконец не образуется продукт, который полностью будет растворяться как в спирте, так и в воде. Но этот раствор все еще остается кислым и кислота связывает в нем растительные алкалоиды. Если же добавить в него подщелачивающее вещество, скажем каустик или едкий кали, алкалоиды высвободятся.

В тот момент, когда Стас разбавил свои пробные растворы едким кали, он впервые уловил запах улетучивающегося алкалоида, а позже – типично острый запах никотина. Чтобы выманить «ставшие свободными» растительные яды из щелочного раствора, потребовался, наконец, растворитель, который бы при взбалтывании с водой образовывал на время эмульсию, а отстоявшись, снова бы отделился от воды. Смекалка Стаса привела его в поисках такого растворителя к эфиру, который, придя из Америки, завоевал как средство для наркоза операционные во всем мире. Эфир легче воды, он смешивается с ней при взбалтывании, а затем снова от нее отделяется. Но при этом эфир абсорбирует ставшие свободными растительные алкалоиды. Дистиллируя эфир с большой осторожностью или позволяя ему испаряться на блюдце, мы в итоге получим экстракт, содержащий искомый нами алкалоид, – если, разумеется, он вообще содержался в растворе.

Это содержащее алкалоид вещество можно очищать еще дальше, и тогда возможно с помощью химических реактивов или иных средств установить вид искомого растительного яда.

К концу ноября – началу декабря 1850 г., когда Стас обдумывал этот свой метод, он еще не мог знать, что его метод позволит токсикологам выделять и обнаруживать все основные растительные алкалоиды (а позднее и иные яды) – от атропина из белладонны до дельфинина из шпорника. Он не мог предполагать, что посредством незначительного дополнения к его способу (путем добавления нашатыря в последней фазе и применения хлороформа и амилового спирта вместо эфира) можно выделить из человеческого организма также важнейший алкалоид опиума – морфий.

Когда 2 декабря Эгебэр с новыми важными известиями вошел в лабораторию Стаса, ученому как раз только что удалось обнаружить в «плотных» органах человека, а именно в печени и языке Гюстава Фуньи, яд никотина. Там было столько никотина, что его вполне хватило бы для убийства нескольких человек.

Все, что следственный судья сообщил об изготовлении никотина графом Бокармэ, явилось для Стаса подтверждением его собственного успеха. Оставалось проделать лишь некоторую дополнительную работу, впрочем весьма важную и перспективную с точки зрения дальнейшего сотрудничества науки с практикой в области чисто криминалистического расследования.

Эгебэр передал Стасу одежду убитого и семь дубовых паркетных досок, на которые замертво упал в столовой Гюстав Фуньи. Исследование одежды закончилось безрезультатно, ибо она была очень тщательно выстирана. Но на паркетинах, как было бесспорно установлено, имелись следы никотина. 7 декабря Стас исследовал брюки садовника Деблики, которые он носил, помогая графу Бокармэ в изготовлении так называемого «одеколона». На них были пятна от никотина. 8 декабря Эгебэр и его жандармы наткнулись в саду замка на погребенные останки кошек и уток, на которых Бокармэ испробовал ядовитое действие полученного никотина. Исследование этих останков показало наличие в них «улетучивающегося алкалоида со всеми признаками никотина». 27 февраля 1851 г. Стас предпринял последнюю серию экспериментов. Он умертвил собаку, введя ей в пасть никотин. Другая собака была умерщвлена таким же способом, но сразу же после смерти ей в пасть залили уксусную кислоту. Первый эксперимент показал, что никотин не дал никаких химических ожогов. Второй же эксперимент, напротив, вызвал появление таких же черноватых выжженных мест, которые были у Гюстава Фуньи.

Граф, по всей вероятности, столкнул Гюстава на пол и удерживал его там, пока графиня вливала яд в рот своему брату. Последний защищался более отчаянно, чем ожидалось. Это привело к телесным повреждениям и к тому, что никотин забрызгал все вокруг. Это обстоятельство заставило супругов Бокармэ снять с мертвеца одежду и выстирать ее, но прежде всего – применить уксусную кислоту, чтобы скрыть наиболее видимые следы яда.

Через несколько дней после последнего эксперимента Стаса жандармы Эгебэра нашли в потолочных перекрытиях замка Битремон столь долго разыскиваемые аппараты, которыми граф Бокармэ пользовался при производстве никотина.

Когда через три месяца, 27 мая, в суде присяжных в Монсе начался процесс против графа и графини Бокармэ, представитель обвинения де Марбэз был твердо уверен в том, что дело для подсудимых заведомо проиграно. Так как оба супруга перед лицом имеющихся доказательств их вины не могли отрицать, что убили Гюстава Фуньи с помощью никотина, то окружающим представилось зрелище двух стравленных зверей, сваливающих вину друг на друга. Графиня призналась, что помогала в подготовке и осуществлении убийства своего брата. Но всю вину она сваливала на мужа, грубому давлению которого она, по ее словам, вынуждена была подчиниться. Граф признался, что занимался ядами, но пытался спасти себя, заявив, что получаемый им никотин он собирал в винную бутылку, чтобы взять ее с собой, когда поедет в Северную Америку. А его жена 20 ноября по недосмотру перепутала бутылки, когда захотела угостить Гюстава Фуньи после обеда вином. Но все попытки защищаться от обвинения подобным образом были бесплодны. Присяжным понадобилось не больше часа, чтобы вынести в отношении графа обвинительный вердикт. И если графиня – к возмущению присутствующих – вышла из зала суда на свободу, то лишь потому, что присяжные не решились послать «даму» на гильотину.

Вечером 19 июля 1851 г. при свете факелов Ипполит Визар де Бокармэ кончил жизнь на эшафоте в Монсе.

Дело Бокармэ получило свое логическое завершение. А Жан Сервэ Стас, открыв метод обнаружения никотина, завоевал себе бессмертие в царстве химии и токсикологии.

**6**

*Борьба за разграничение отдельных алкалоидов.*

Бессмертие? Что ж, Стас в самом деле обессмертил свое имя. Пусть его способ подвергся усовершенствованиям и дополнениям, пусть возможности применения этого метода были расширены – в первую очередь немецким исследователем Фридрихом Юлиусом Отто, профессором химии из Брауншвейга, – несмотря на это, даже в середине XX столетия способ Стаса все еще оставался основным методом «распознавания» ядовитых алкалоидов.

Когда после окончания процесса по делу Бокармэ открытие Стаса получило широкую известность, начался новый этап в развитии токсикологии. Поскольку появилась универсальная возможность обнаружения алкалоидов, стало необходимым найти методы точного определения того, какой конкретно яд содержится в экстракте, полученном по способу Стаса. Многие химики в Германии, Франции, Англии, России, Швеции и не в последнюю очередь в Италии включились в начавшийся уже несколько ранее поиск более или менее типичных химических реакций для отдельных видов растительных ядов. Тысячи экспериментов, проводившихся в течение десятилетий, привели к открытию большого числа реактивов, которые, входя в соприкосновение с определенными алкалоидами, дают характерную только для того или иного алкалоида окраску.

Пионерами этого направления в токсикологии были такие ученые, как Драгендорф, Хуземан, Марки, Фреде, Оливье, Мекке, Майер, Вагнер, Зонненштайн, Эрдман, Келлер, Мэрк, Витали и Пеллагри.

Некоторые из этих имен дали названия определенным реактивам или определенным пробам, которые выполняются с помощью этих реактивов. Вскоре заговорили о «реактиве Мекке», «реактиве Марки», «реактиве Фреде» или «реактиве Манделена», подразумевая под этим соответственно реакции селена с серной кислотой, формалина с серной кислотой, молибдена с серной кислотой и ванадия с серной кислотой. Если добавить, например, реактив Мекке к полученному по методу Стаса экстракту, который содержит морфий, то вначале все соединение приобретает оливково‑зеленую окраску, которая затем превратится в голубовато‑фиолетовую, а позже – снова в оливково‑зеленую, но с красной каймой. Обработка такого же экстракта, содержащего героин, реактивом Мекке даст светло‑голубую окраску с зеленоватой каймой, переходящую впоследствии в оливково‑зеленую.

Реактив Марки дает при наличии в экстракте морфия, героина, кодеина фиолетовую окраску, то есть позволяет определить таким образом целую группу растительных ядов. Другая группа ядов обнаруживает свое присутствие при проведении пробы, вошедшей в историю токсикологии под названием «пробы Витали». Экстракт, приготовленный по способу Стаса, смешивали с серной кислотой, выпаривали и полученное сухое вещество смешивали с углекислым калием. Если при этом возникала фиолетово‑голубая окраска, она, безусловно, свидетельствовала о наличии атропина, гиосциамина или гиосцина. Для доказательства наличия того или иного конкретного алкалоида этой группы в свою очередь появились специальные пробы. Лаборатории стали местом, где вовсю играли краски.

Для доказательства наличия одного лишь морфия существовала по меньшей мере дюжина реакций. Пожалуй, самая важная из них носила имя ее первооткрывателя Пеллагри. При этой пробе морфий обнаруживал себя ярко‑красным цветом, появлявшимся, как только исследуемое вещество растворяли в дымящейся соляной кислоте, смешивали с несколькими каплями концентрированной серной кислоты и выпаривали. Если же позже туда добавляли разбавленную соляную кислоту, углекислый натрий и настойку йода, то красный цвет переходил в зеленый.

Происходящие при этих реакциях процессы поначалу не удавалось объяснять. Лишь через столетие, когда была изучена сложная химическая структура отдельных алкалоидов, стало возможным хотя бы догадываться о таких объяснениях. Но тысячи опытов и контропытов научили токсикологов распознавать закономерности в многоцветье игры красок. Только небольшое число растительных алкалоидов не поддавалось идентификации с помощью цветовых реакций. К ним относился и аконитин, который можно было определить лишь попробовав на язык, ибо он вызывал жаляще‑парализующее ощущение столь своеобразного характера, что его нельзя было спутать ни с каким другим растительным ядом. Некоторые же другие алкалоиды нельзя было обнаруживать даже таким путем. Пробел в способах идентификации таких алкалоидов, а также других растительных ядов заставлял искать все новые методы.

Чероз тринадцать лет после открытия Стаса, в 1863 г., Париж времен императора Наполеона III стал ареной первого большого процесса по делу об отравлении, на котором наличие растительного яда было доказано с помощью новых методов. Тут и начинается новый драматический раздел нашего повествования.

Имена молодой француженки вдовы де Пов и молодого врача д‑ра Кути де ля Поммерэ, жертвы и убийцы, с декабря 1863 по июнь 1864 г. были во Франции у всех на устах. А вместе с ними и имя сорокоиятилетнего в то время профессора судебной медицины из Парижа Амбруаза Тардьё.

«У меня всего лишь холера в легкой форме. Доктор де ля Поммерэ сказал мне, что через двадцать четыре часа я снова буду здорова». Это были последние слова, сказанные мадам де Пов утром 17 ноября – в день ее смерти, во всяком случае последние слова, которые смогли передать свидетели. Через несколько часов она была уже мертва – умерла от быстротечной болезни, внезапно начавшейся в ночь на 17 ноября с болей в желудке и рвоты. Затем наступила «ужасная слабость в мышцах». Соседи, застав больную обливающейся потом, вызвали участковых врачей Бласа и Годино.

Они в первую очередь обратили внимание на состояние сердца у больной. Пульс был бурный, прерывающийся, а порой и вовсе не прощупывался. Годино предполагал прободение желудка. Но мадам де Пов попросила этих врачей оставить ее и потребовала вызвать д‑ра де ля Поммерэ.

После этого оба врача покинули ее дом. Вскоре туда явился Поммерэ, видный и элегантный мужчина двадцати восьми лет, и остался с больной наедине. Соседи и любопытствующие столпились перед домом. Большинство из них знало молодого врача. Некоторое время тому назад, примерно до 1861 г., он частенько бывал там. В то время, приехав из Орлеана, он обосновался в Париже в качестве врача‑гомеопата и лечил смертельно больного мужа де Пов. Вскоре после кончины мужа вдова, оставшаяся без средств, стала любовницей Поммерэ. Позже Поммерэ из финансовых соображений вступил в брак с мадемуазель Дубичи и покинул мадам де Пов. Однако через несколько месяцев они снова стали часто видеться у нее. В общем, история как история, ничего необычного. Мужчина имел любовницу, женился на богатой даме и спустя какое‑то время вернулся к любовнице. В высшей степени будничное явление. Что к этому добавить? Как раз прошлым вечером де ля Поммерэ долго пробыл в квартире вдовы. Простилась она с ним в хорошем настроении, проводила до дверей.

Вскоре после трех часов дня Поммерэ с опущенной головой вышел на улицу и сообщил ожидавшим, что мадам де Пов только что скончалась от холеры. Свидетельство о смерти он уже составил и позаботился о похоронах. Все дальнейшее произошло без свидетелей, как обычно хоронят небогатых людей на Южном кладбище.

Никогда мадам де Пов и Поммерэ не попали бы в книгу регистрации знаменитых уголовных процессов, не получи шеф Сюртэ Клод утром 20 ноября анонимное письмо. Неизвестный автор письма посоветовал Клоду заняться вопросом, не был ли некий доктор де ля Поммерэ заинтересован в смерти вдовы де Пов из финансовых соображений.

Клод поручил чиновнику полиции навести справки о Поммерэ. Это было чисто формальное поручение. Но когда Клод ознакомился с результами проверки, речь шла уже не о формальности. Покойная была застрахована в нескольких парижских страховых обществах, причем на необычно высокую сумму – 550 тыс. франков.

Больше того, де ля Поммерэ только что предъявил страховым обществам завещание покойной, в котором указывалось, что страховая сумма в случае ее смерти должна быть выплачена молодому врачу, дабы он мог позаботиться о ее детях. Что касается личности де ля Поммерэ, то хотя он и создал себе за короткое время довольно приличную практику, но слыл хвастуном, авантюристом и игроком, постоянно нуждающимся в деньгах. «Де ля» перед фамилией он присвоил себе сам. Его теща, мадам Дубичи, настолько не доверяла ему, что держала под своим контролем принадлежащую ее дочери часть имущества. Однако через два месяца после того, как Поммерэ справил свадьбу, мадам Дубичи, поужинав у своего зятя, сразу заболела и через несколько часов умерла. Освободившееся благодаря этому имущество его жены спасло Поммерэ от грозившего ему банкротства. Тем не менее к середине 1863 г. он снова оказался в затруднительном финансовом положении и снова стал навещать свою прежнюю возлюбленную. Вскоре после этого были заключены договоры о страховании жизни. Поммерэ уплатил по ним первые взносы и вместе со своей любовницей явился к адвокату, чтобы составить завещание от имени вдовы де Пов, по которому в случае ее смерти все страховые суммы выплачивались Поммерэ.

Среди врачей, которые обследовали состояние здоровья мадам де Пов перед окончательным заключением с ней договоров страхования, были такие знаменитости того времени, как Нелатон и Вельпо. Еще в конце лета 1863 г. они засвидетельствовали прекрасное состояние здоровья застрахованной. Но сразу же после заключения договоров страхования соседи услышали ночью, как мадам де Пов упала на лестнице. На следующее утро вдова не могла встать с постели и жаловалась на сильные боли «где‑то внутри». Вызванные Нелатон и Вельпо не смогли обнаружить, как они выразились, «никаких повреждений». Это дало им повод познакомиться с Поммерэ. Тот обратил внимание удивленного Нела‑тона на то, что ему следовало бы подготовить страховые общества к тому, что у мадам де Пов развивается тяжелое заболевание внутренних органов. Нелатон отнес это утверждение за счет его молодости и неопытности. Поправилась мадам де Пов на удивление быстро и оставалась здоровой вплоть до той ночи на 17 ноября, когда началась болезнь, приведшая ее к смерти.

Клода заинтересовал этот необычный случай, и он решил сам заняться его расследованием. Но прежде чем он пришел к такому решению, его посетила 26 ноября мадам Риттер, сестра умершей, которая заявила, что не может дольше скрывать кое‑что из того, что ей было известно.

После того как мадам Пов упала с лестницы, обеспокоенная сестра тут же поспешила к ней. Но к безграничному удивлению мадам Риттер больная призналась ей, что она вовсе не больна. Ее дружок Поммерэ сбросил с лестницы набитый мешок, чтобы соседи потом подтвердили, что слышали шум падения. Поммерэ, мол, изобрел гениальный план, который обеспечит ей достаток на всю оставшуюся жизнь. Он помог ей заключить несколько крупных договоров о страховании жизни. Теперь она с его помощью должна симулировать серьезное, опасное для жизни заболевание. Как только страховые общества в достаточной степени убедятся, что у нее неизлечимая болезнь, они пойдут на то, чтобы заменить возможную выплату всей страховой суммы пожизненной пенсией, что обеспечит ей получение пятисот франков каждый месяц. Общества с облегчением согласятся на это, ибо по опыту знают, что лучше выплачивать в течение короткого, по всей вероятности, срока пенсию, чем огромные страховые суммы по случаю смерти. Значит, как только устроится дело с пожизненной пенсией, она весело заживет, пожиная плоды своей материальной обеспеченности.

Мадам Риттер безуспешно пыталась отговорить сестру от таких махинаций. Отчаяние ее возросло, когда она узнала о завещании. Она умоляла свою сестру подумать о том, что Поммерэ может помочь ей стать не только больной, но и мертвой, чтобы завладеть наследством. Но сестра целиком находилась под влиянием Поммерэ.

В ноябре 1863 г. Клод даже не подозревал, что токсикология со временем станет незаменимой помощницей в повседневной работе криминалистов, настолько незаменимой, что через полвека во Франции возникнет одна из первых в мире химических полицейских лабораторий. Но в деле де ля Поммерэ он действительно оказался, подобно Эгебэру, провозвестником грядущего тесного сотрудничества криминалистов с наукой. Сразу после визита мадам Риттер он убедил следственного судью Гонэ в необходимости эксгумировать труп покойной и установить, не умерла ли она вследствие отравления ядом. Проведение анализа на яд поручили Амбруазу Тардьё.

Тардьё и его ассистент Руссэн приступили к делу 30 ноября 1863 г., на тринадцатый день после смерти вдовы Пов. Они не нашли у нее никаких внутренних повреждений. Все органы, в частности сердце, были без аномалий. Ни холера, ни прободение желудка не могли стать причиной смерти. Тогда Тардьё принялся за поиски следов яда. Пока он искал следы мышьяка, сурьмы и других металлических или минеральных ядов, Клод неожиданно для Поммерэ приказал арестовать его и обыскать его дом. В ходе обыска были обнаружены небезынтересные любовные письма вдовы к врачу, а также – и это главное – необычно обширный для гомеопата набор ядов и ядовитых медикаментов, как‑то: мышьяк (в большом количестве), сулема, стрихнин, аконитин, атропин и другие ядовитые алкалоиды, а также цианистый калий, синильная кислота, дигиталин и истолченные в порошок листья наперстянки.

Клод лично передал 10 декабря Тардьё коллекцию ядов Поммерэ и изъятые письма. Уже десять дней тщетно ждал он результатов анализов на яд. Растущее беспокойство и стремление добиться ясности в этом деле заставили его поехать к Тардьё. Он застал Тардьё и его ассистентов в лаборатории Парижского университета среди дымящихся сосудов и реторт. Настроение у них было подавленное. Они применяли все известные методы обнаружения минерально‑металлических и летучих ядов, но не добились успеха. Несколько последних дней они были заняты проведением проб на растительные алкалоиды. Тардьё изготовил множество экстрактов Стаса и подверг их всем известным цветовым реакциям. Вытяжки были подозрительно горькими На вкус, но сами реакции не дали даже малейших указаний на присутствие какого‑либо растительного яда. Только горечь была столь явной, что Тардьё не мог избавиться от мысли, что почти наверняка имеет дело с растительным ядом, но, возможно, с таким, для которого еще не найден реактив, вызывающий цветовую реакцию.

Тардьё посетовал на то, что Сюртэ, не говоря уже о других полицейских службах, не имеет ни малейшего представления о работе токсикологов. В противном случае она бы не довольствовалась только передачей трупов токсикологам и ожиданием от них чуда. Лучше бы ей более основательно искать на месте преступления следы, пригодные для токсикологических исследований. Его собственная работа была бы в тысячу раз легче, если бы ему во всех случаях предоставляли в распоряжение рвотную массу умерших или следы рвоты, оставшиеся на полу. Ведь они всегда содержат больше яда, чем внутренние органы покойников.

Когда Клод, еще более расстроенный безрезультатностью анализов, попрощался с Тардьё, последний еще совершенно не знал, что ему следует предпринять. Первое обследование коллекции ядов де ля Поммерэ не особенно помогло ему. В ней было такое количество алкалоидов, что можно было предложить использование любого из них.

На переданные ему любовные письма Тардьё вначале не обратил внимания, ибо они казались ему не имеющими никакого отношения к его работе, а Клод в атмосфере общей подавленности просто забыл указать ему на некоторые места в письма, могущие заинтересовать токсиколога.

Лишь два дня спустя, 12 декабря, после крушения всех других начинаний Тардьё решил ввести частицы экстракта, полученного из органов покойной, «прямо в кровоток большой, сильной собаки и выяснить, последует ли вообще какой‑нибудь отравляющий эффект». Тардьё вспомнил, что еще Стас предпринимал подобные эксперименты, правда только для подтверждения тождества алкалоидов, установленных уже иным путем. Из различных экстрактов Тардьё изготовил смесь и, сделав собаке инъекцию пяти гранов этой смеси, стал скрупулезно контролировать все ее реакции.

Вначале сердце собаки билось нормально и в течение двух с половиной часов с ней ничего не происходило – ровным счетом ничего. Затем внезапно у собаки началась рвота, и, изможденная, она свалилась на пол. Сердцебиение у нее было неровным, временами прерывалось. Через шесть с половиной часов пульс упал до сорока пяти ударов в минуту. Дыхание стало неглубоким и затрудненным. Такое состояние длилось двенадцать часов. А затем собака начала приходить в себя.

Итак, действие экстракта не было смертельным. Но Тардьё не сомневался, что в нем содержится яд, который поражает сердце. Но сильнее всего его взволновало совпадение с симптомами, наблюдавшимися у вдовы де Пов во время болезни, которая свела ее в могилу.

Тардьё вторично обследовал «аптеку» де ля Поммерэ. При ознакомлении со списком ядовитых веществ его взгляд задержался на названии «дигиталин». Речь шла об экстракте красной наперстянки, целебное действие которой при сердечных заболеваниях открыл в 1775 г. английский сельский врач Уитринг. Правда, применять его разрешалось лишь в мельчайших дозах. Если же брали более значительные дозы дигиталина, то после начального возбуждения сердечной деятельности наступали паралич сердечной мышцы и смерть. Налицо вновь была параллель с симптомами смертельной болезни вдовы. Тардьё еще более укрепился в своих подозрениях, когда узнал, что 11 июня 1863 г. Поммерэ приобрел грамм, а 19 июня – еще два грамма дигиталина. От этого количества ко дню обыска в доме Поммерэ оставалось лишь пятнадцать сотых грамма дигиталина – одна двадцатая часть. Когда же Тардьё пробежал глазами содержание писем, которым он сперва не уделил никакого внимания, его подозрение переросло в почти полную уверенность. Теперь он сообразил, зачем Клод передал их ему. В письмах были некоторые фразы, где речь шла о дигиталине. В последние недели перед смертью вдова де Пов, между прочим, сообщала своему возлюбленному, что по совету своего знакомого, не медика, она приняла дигиталин, чтобы «приободриться». Это было очень странно, ибо ни в одном другом письме не было ни слова о медицинских делах.

После краткого раздумья Тардьё ввел часть оставшегося дигиталина из «аптеки» Поммерэ в кровь другой подопытной собаке. Теперь за поведением собаки наблюдали еще напряженнее, чем в первый раз. Ровно через двенадцать часов она умерла: симптомы – рвота, беспокойство, мышечная слабость, неритмичность, а в конечном итоге – паралич сердечной деятельности. Теперь Тардьё был убежден, что вдова де Пов умерла от отравления дигиталином и что Поммерэ выбрал именно этот растительный яд, потому что, по всей вероятности, знал, что обнаружить его пока невозможно.

Помимо этого, Тардьё заподозрил, что Поммерэ под каким‑нибудь предлогом побудил свою ослепленную чувством возлюбленную написать ему в письме о приеме дигиталина. Он, видимо, рассчитывал подстраховаться на тот случай, если вопреки ожиданиям все‑таки удастся обнаружить в трупе яд. Письма должны были доказать, что мадам де Пов легкомысленно и без его ведома употребляла ядовитое лекарство.

Однако Тардьё обладал достаточным опытом, чтобы понимать, что его личная убежденность еще не являлась доказательством. Экстракты из органов покойной не смогли убить подопытную собаку. «Значит, – стал бы комментировать это де ля Поммерэ, – яд не смог бы убить и мадам де Пов». Поэтому Тардьё решил повторить свои эксперименты на лягушках, ибо фармакологи пришли к выводу, что лягушечье сердце лучше всего подходит для испытания сердечных средств и получения примерных результатов об их действии на человеческий организм.

Но прежде чем он успел начать новые эксперименты, произошло событие, которое вновь позволяет нам поставить вопрос о роли случая или рока. Поздним вечером 12 декабря от Клода прибыл служащий Сюртэ с несколькими запечатанными пакетами. Открыв их, Тардьё обнаружил: 1) дощечки паркета из спальни мадам де Пов – с того места, где была рвота умершей и где до сих пор еще остались пятна от нее; 2) соскобы следов рвотной массы с других мест пола спальни. Таким образом Клод отреагировал на сетование Тардьё относительно роли полиции, высказанное 10 декабря. Он еще раз тщательно обследовал комнату, где умерла вдова, и нашел путь добыть для Тардьё то, чего тот требовал.

В ту же ночь Тардьё исследовал новые вещественные доказательства. Он надеялся, что даже высохшие остатки рвотной массы содержат намного большую концентрацию яда, чем экстракты, полученные им из органов умершей. «Исходя из того, – значилось потом в его заключении, – что оказавшиеся на полу нечистоты скапливаются в основном в щелях между досками, эксперты тщательно выскоблили с обоих краев досок засевшую там, отчасти еще сыроватую массу и добавили этот соскоб к тому, что было соскоблено с поверхности досок. Полученное смешали с тем соскобом, который уже был предоставлен экспертам ранее». В эту смесь Тардьё добавил чистый спирт, профильтровал и выпарил ее, получив в результате жидкий экстракт.

Тардьё разрезом обнажил сердца у трех лягушек и оставил их в привычной влажной среде. Число ударов сердец у них было примерно одинаково и составляло от 40 до 42 в минуту. С первой лягушкой ничего больше не делали, а второй впрыснули под кожу шесть капель раствора, состоящего из одной сотой грамма чистого дигиталина и 5 гранов воды. Третья лягушка получила 5 гранов экстракта, полученного из рвотной массы.

Происшедшее устранило у Тардьё последние сомнения. В то время как сердце контрольной лягушки продолжало ритмично биться еще в течение получаса, сердце лягушки, которой ввели дигиталин, и той, которой был введен экстракт рвотной массы, вели себя одинаково: через шесть минут после инъекции сердцебиение замедлилось до 20–30 ударов, через десять минут удары обоих сердец стали неритмичными, а через 31 минуту оба сердца остановились.

Для полной уверенности Тардьё повторил эти эксперименты, проработав над ними еще две недели. Наконец, 29 декабря 1863 т. он попросил Клода предоставить ему для исследования еще один материал из комнаты, в которой умерла потерпевшая. На этот раз речь шла о тех частях пола, на которые ни при каких условиях «не могла попасть рвотная масса», то есть о досках, находившихся под кроватью. С них был сделан соскоб, из которого Тардьё изготовил экстракт. Цель его состояла в том, чтобы предупредить возражение, будто краска пола могла содержать смертельный яд, действующий так же, как дигиталин. Данный экстракт не оказал ни малейшего воздействия на лягушек, после чего Тардьё вручил следственному судье Гонэ заключение, в котором утверждал, что вдова де Пов, безусловно, умерла от отравления. При этом добавил: «Все говорит о том, что вдова де Пов скончалась от отравления дигиталином».

Тардьё предвидел, что его заключение даст повод защитнику де ля Поммерэ, столь же умному, сколь и ловкому мэтру Лашо, самым решительным образом оспаривать ценность физиологических доказательств наличия растительного яда, полученных путем опытов на животных. Если бы Тардьё сумел заглянуть в будущее – хотя бы лет на семьдесят, он бы мог спокойно ожидать нападок Лашо, ибо последующий опыт подтвердил правильность его выводов.

Так, в 1938 г. в Брюсселе предстала перед судом и была приговорена к пожизненному тюремному заключению пятидесятидевятилетняя вдова Мари Александрин Беккер, отравившая дигиталином одиннадцать человек. Анализы на яд у многочисленных ее жертв производили видные токсикологи, фармакологи и физиологи под руководством брюссельского судебного медика Фирки. Они могли использовать все достижения, накопленные со времени работы Тардьё.

Такие ученые, как, например, Генрих Килиани, который в 1863 г. был еще ребенком, посвятили большую часть своей жизни изучению тайн дигиталина. Быстрота процессов разложения чрезвычайно затрудняла возможность выделения дигиталина из тела отравленного, а это лишний раз подтверждало, что самым надежным способом обнаружения этого яда остается исследование рвотной массы, то есть тот самый метод, который помог достичь успеха Тардьё. Именем Килиани была названа и открытая им химическая цветовая реакция. Но окраска – от синей (цвета индиго) до сине‑зеленой – возникала при этой реакции лишь тогда, когда применялись очень большие дозы дигиталина, а поскольку даже мельчайших его доз было достаточно для наступления смерти, то неудивительно, что в большинстве случаев цветовая реакция не наступала. Поэтому, когда эксперты докладывали суду о результатах своих анализов, они опирались не на химические реакции, а на результаты таких же «физиологических экспериментов на лягушачьих сердцах», какие предпринял Тардьё еще в декабре 1863 г.

Весной же 1864 г., когда начался процесс над Кути де ля Поммерэ, Тардьё был еще в одиночестве. И он не обманывался, ожидая резких нападок защиты. Лашо атаковал методы Тардьё со всей яростью на которую был способен. Где тот яд, который якобы убил мадам де Пов? Где хотя бы миллиграмм этого яда? Где его можно увидеть, почувствовать? Где демонстрировалась хотя бы единственная из тех цветовых реакций, по которым токсикологи судят о наличии растительных ядов? Ничего этого не было. Тардьё, как заявил Лашо, знает, что он не может и никогда не сможет продемонстрировать суду ни одной цветовой реакции. Но его тщеславие не дает ему покоя. На какой же обманчивый путь ступил Тардьё, решая вопрос о виновности или невиновности, о жизни или смерти! Какая нужна самоуверенность, чтобы по лягушкам – да, по лягушкам – делать выводы о человеческом естестве! Какое пренебрежение к многогранности и разнообразию природы! Тардьё может убивать гекатомбы подопытных животных, но ни одно мыслящее существо он не убедит в том, что сердце лягушки можно ставить наравне с человеческим сердцем. Он может изготовлять сотни своих «экстрактов» из несчастных умерших и впрыскивать их своим лягушкам. Но и этим ему не удастся убедить ни одного судью и ни одного присяжного в том, что в теле тех или иных покойников имеется какой‑то яд вроде таинственного дигиталина. Затем, повысив голос, Лашо произнес:

«Наука, если я правильно информирован, придерживается взгляда, что растительные яды обязаны своим возникновением распаду растительного белка. Не допускает ли господин Тардьё хоть на одну секунду мысль, что и у таких покойников, как мадам де Пов, тоже происходит распад белка и что в результате гниения могут появиться яды, не имеющие ничего общего с дигиталином, но убивающие его лягушек? Об этом Тардьё, как видно, не думал. Но суд и присяжные сделают это вместо него!»

Бурная атака Лашо не спасла де ля Поммерэ ни от обвинительного приговора, ни от казни, состоявшейся 9 июня 1864 г. Лашо потерпел поражение потому, что Тардьё получил смертоносный яд не из трупа, а из рвотной массы, извергнутой еще живым человеком. Лашо потерпел поражение потому, что (как вскоре окажется) гениальнейшая догадка в его речи – мысль о естественном возникновении в трупе ядов, похожих на растительные, – казалась в те времена, когда шел процесс, настолько нелепой, что никто не оценил ее по достоинству. Эта мысль выглядела выдумкой, порожденной фантазией адвоката, отчаянно ищущего любую возможность облечить участь своего подзащитного. В действительности же все обстояло не так. Хотя догадка Лашо не имела ничего общего с новыми методами обнаружения ядов физиологическим путем и их принципиальным значением для всего будущего, она тем не менее была предвестником того, что произошло потом в действительности – в действительности, ввергшей токсикологов по вопросу о растительных ядах в тяжелый кризис и глубокую пучину сомнений.

**7**

*Поиски метода обнаружения кристаллов. Новый акт драмы: создание искусственных алкалоидов. Спектральный анализ. Рентгеноструктурный анализ. Русский ученый Цвет и история бумажной хроматографии.*

В течение двух первых десятилетий XX века со всей определенностью выяснилось, во‑первых, что многие сообщения относительно несостоятельности методов обнаружения трупных алкалоидов объясняются отсутствием чистоты проведения исследований или поверхностным наблюдением цветовой реакции; во‑вторых, что совершенно исключено наличие любых алкалоидов животного происхождения в экстрактах, которые получены при правильном применении метода Стаса; в‑третьих, что использование по меньшей мере шести цветовых реакций и – при необходимости – дополнительных физиологических проб абсолютно исключает всякую возможность принять растительный алкалоид за трупный.

Но важнее было то, что токсикология сделала первые шаги по пути поиска абсолютно безупречных методов обнаружения ядов, который к середине XX столетия привел к поразительным успехам.

Первым шагом на этом совершенно новом пути были поиски метода определения ядов по их кристаллам. Правда, еще Стас пытался осуществить идентификацию никотина посредством кристаллообразования, а американец Уормли в 1895 г. сообщил о проведении подобных же опытов, но лишь в 1910 г. этот способ привлек к себе повышенное внимание. Заинтересованная общественность впервые узнала еще об одном новом способе, основанном на том, что алкалоиды после кристаллизации плавили. Причем процесс плавления начинался у каждого алкалоида при точно определенной температуре, проходил в типичных только для него температурных пределах, что позволяло идентифицировать яды по температуре точки их плавления либо по его характеру. Этот метод предложил Уильям Генри Уилкокс.

Напряженная работа в течение пяти следующих десятилетий привела к открытию таких способов обнаружения алкалоидов, о которых не могли мечтать не только первооткрыватели цветовых реакций, но и сам Уилкокс. В немалой степени этому способствовало развитие фармацевтической химии и фармацевтической промышленности, которое началось во второй четверти XX века с того, что по мере исследования натуральных растительных алкалоидов были созданы искусственные синтетические продукты, похожие как по своему терапевтическому, так и по отравляющему эффекту на растительные алкалоиды или даже превосходящие их.

Итак, известные растительные яды пополнил настоящий поток «синтетических алкалоидов». Он еще больше усилился, когда в 1937 г. во Франции были выпущены первые антигистамины – искусственные активные вещества против аллергических заболеваний всех видов – от астмы до кожной сыпи. За несколько лет их число перевалило за две тысячи, и из этого количества по крайней мере несколько дюжин быстро приобрели широкую популярность как лекарства (и потенциальные яды). Они тоже являлись «искусственными алкалоидами», и им не было числа. Все это заставило судебных токсикологов стать наконец участниками постоянной борьбы между изготовлением новых ядов и открытием новых методов их обнаружения.

Открытый Стасом способ обнаружения алкалоидов был усовершенствован, а это во многих случаях привело к тому, что чистота экстрактов достигла неслыханной, даже во времена Уилкокса, степени. Цветовые реакции тоже не потеряли своего значения.

Их число соответственно бурному увеличению числа ядов намного возросло.

Идентификация алкалоидов на основе определения точки их плавления получила дальнейшее развитие благодаря таким ученым, как Остеррайхер, Фишер, Брандштетер и Раймерс, а также не в последнюю очередь благодаря Людвигу Кофлеру, умершему в 1951 г. профессору фармакологии в Инсбруке. Кофлер создал аппарат для определения точки плавления, который позволял наблюдать плавление исследуемого вещества под микроскопом и одновременно засекать на термометре точку плавления этого вещества.

В этот же период в деле идентификации алкалоидов на основе их кристаллизации был достигнут совершенно явный прогресс. Англичанин Э. Кларк создал в Лондоне коллекцию не менее чем из пятисот кристаллических форм различных алкалоидов, чтобы сделать возможным быстрое сравнение с ними под микроскопом кристаллов неизвестных объектов исследования. Было опробовано около двухсот химических реактивов, с помощью которых можно было проводить кристаллизацию алкалоидных растворов.

Однако самый решительный прогресс связан с наукой, которая с середины XX столетия стала завоевывать себе все больше места в токсикологии, – с физикой. Немецкими учеными Робертом Вильгельмом Бунзеном и Густавом Кирхгофом в 1859 г. было положено начало тому направлению, которое привело к спектральному анализу при помощи видимых и невидимых лучей и к применению его в судебной медицине. С тех пор прошло более ста лет.

В 50‑е годы XX в. такие токсикологи, как датчанин Т. Гаунг или бельгиец Лакруа, обратили внимание на чрезвычайное значение для токсикологии рентгеноструктурного анализа. Он сделал возможным простое и быстрое распознавание многих алкалоидных кристаллов и через них – самих алкалоидов. Американцы У. Барнз, Б. Марвин, Габарино и Шепард возглавили это направление и изучили характерные признаки, которые позволяли идентифицировать значительное число алкалоидов с помощью рентгеноструктурного анализа.

Но это было еще, пожалуй, не самое значительное достижение.

Более важное открытие носит довольно странно звучащее название «колоночной» или «бумажной хроматографии». Англичанин А. С. Кэрри в первую очередь помог этому методу триумфально вступить в область токсикологии.

В 1906 г. русский ботаник Цвет занялся изучением водных растительных экстрактов, содержащих различные натуральные красители. Какой‑нибудь из этих экстрактов он пропускал через наполненную измельченным мелом стеклянную трубку – «колонку». При этом мел втягивал в себя красящее вещество из экстракта. На верхнем конце меловой «колонки» возникал пестрый слой, в котором были соединены все красящие вещества, в то время как с нижнего конца «колонки» стекал чистый водянистый раствор растительного экстракта. Но затем происходило нечто совсем удивительное. Когда русский ученый подливал сверху в «колонку»‑трубку воду, то пестро окрашенная зона на верхнем конце ползла вниз. Но ползла она не как единое целое. Красящие вещества отделялись друг от друга и оставались «висеть», четко разделенные между собой, на различных уровнях меловой начинки. Если же вторично добавляли воду, они смещались вниз и вытекали порознь.

Цвет открыл тем самым метод разделения простым способом смеси различных веществ и разложения их на составные части. Этот метод разделения получил название «хроматографический анализ» – от греческих слов «хрома» («цвет») и «графо» («пишу»). Открытие это находилось в забвении до тех пор, пока немецкий исследователь Рихард Кюн из Гейдельберга не открыл в начале 30‑х годов этот метод заново. Оказалось, что самые различные химические вещества можно путем хроматографии разложить на составные части и что подобным же образом отдельные составные части можно идентифицировать. Если эти составные части бесцветны, то их местоположение в «колонке» можно распознать с помощью ультрафиолетовых лучей или реактивов, которые, как и при токсикологических анализах, ведут к образованию определенной окраски.

Наконец, оказалось, что «колонка» может быть заменена фильтровальной бумагой, на которой составные части исследуемых субстанций отделяются друг от друга аналогичным образом. Между 1950 и 1960 гг. новый способ взяла себе на вооружение и токсикология. Бумажная хроматография в области обнаружения алкалоидов стала, во всяком случае по признанию англичанина Кларка, «самым значительным событием со времен Стаса».

Когда бумажная хроматография укоренилась в токсикологии, охота за растительными алкалоидами и множеством их синтетических преемников имела уже более чем столетнюю историю. И эта охота представляла собой не рядовой акт в драме человеческих ошибок, усилий, триумфов, новых ошибок и новых триумфов, которым посвящена книга. Речь идет о решающем акте, который предопределил развитие всей судебной токсикологии. Тем не менее и он не последний.

В то время как шла борьба с алкалоидами, токсикологи научились распознавать действие многих других ядов и обнаруживать их. Из небольшого некогда ряда металломинеральных ядов эпоха химии и индустрии выковала почти необозримую по длине и ширине цепь. Она простерлась от соединений марганца, железа, никеля и меди до талия. В виде моющих и чистящих средств, дезинсектицидов или лекарств они попали в руки миллионов людей. Маленький ручеек газообразных ядов, таких, к примеру, как синильная кислота, также превратился в необозримый поток.

Возглавляла группу газов все еще окись углерода, пожиравшая год за годом тысячи жертв. За ней шел целый ряд сероводородных и сероуглеродных соединений вплоть до трихлорэтилена. Широкое распространение во всем мире получило и множество кислот и щелочей – от метилсульфата до салициловой кислоты, этого компонента жаропонижающего и болеутоляющего лекарства аспирина, который в течение десятилетий стоял на третьем месте среди ядов, применяемых самоубийцами, вслед за окисью углерода и барбитуратами.

Если взглянуть на развитие всех этих исследований в целом, то нельзя оспаривать, что из робких начинаний отдельных пионеров ныне выросла серьезная наука. И все же после всех усилий, триумфов и успехов с XIX в. остается нерешенным вопрос: достаточно ли доказать наличие яда в выделениях, крови, тканях тела живущих или умерших людей, чтобы распознать, идет ли в данном случае речь о жертве убийства с помощью яда, самоубийства, медицинского или профессионального отравления? Достаточно ли, как это подчас случалось, приблизительно определить количество обнаруженного яда, чтобы извлечь из этого столь же приблизительные выводы относительно того, какое количество яда получил потерпевший? Не следует ли поискать методы более точного определения количества обнаруженного яда? Не в этом ли заключается главная цель, венец всех усилий?

**8**

*Развитие исследований мышьяка со времени дела Мари Лафарж. Атомные и радиологические исследования на предмет обнаружения мышьяка.*

К середине века казалось доказанным, что «естественный» или «полученный естественным образом» мышьяк в человеческом организме четко отличим от отравляющих доз этого яда. В массе случаев отравления мышьяком, жертвы которых были подвергнуты токсикологическому анализу непосредственно после наступления смерти, в этом отношении не возникало никаких проблем или серьезных сомнений. Но даже в тех случаях, когда подозрение в отравлении влекло за собой эксгумацию лишь спустя больший или меньший отрезок времени после смерти, возникающая при этом проблема проникновения мышьяка в останки тела из земли казалась окончательно выясненной и урегулированной. Казалось доказанным, что вода не вымывает из земли сколько‑нибудь значительного количества мышьяка и не может занести его в останки умерших. Казалось, что большие количества мышьяка в трупах ни при каких обстоятельствах не могут проникнуть в них из окружающей гроб земли, коль скоро последняя в принципе содержит лишь ничтожные количества мышьяка. И считалось окончательно доказанным, что издавна практикуемое взятие проб земли при эксгумировании и точное определние процента содержания мышьяка в земле и в трупе исключает возможность ошибочных решений. Стало аксиомой, что любой мышьяк, попадающий в волосы, а точнее, на волосы вследствие непосредственного соприкосновения последних с землей или через содержащую мышьяк жидкость, можно удалить, применяя современные методы мытья волос с помощью кислоты и ацетона. Опытным путем было точно установлено, что несмываемый при этом мышьяк попадает в волосы из организма человека и в зависимости от своего вида и количества может свидетельствовать об отравлении.

Во второй половине XX столетия возможности количественного определения ядов достигли такой степени развития, о которой не могли даже мечтать токсикологи времен Уилкокса.

Кроме того, появлялись все новые и новые методы обнаружения ядов. Опыт исследователей атома, очень быстро нашедший применение почти во всех отраслях науки, начал привлекать внимание токсикологов. Некоторые токсикологи, прежде всего во Франции, предприняли первые попытки с помощью радиоактивных элементов обнаружить металлические яды и определить их количество. Их эксперименты касались в первую очередь мышьяка в волосах; они делали его радиоактивным с помощью нейтронов, измеряли затем его излучение и по степени этого излучения делали выводы о количестве имеющегося мышьяка.

Область, в которой происходило развитие «количественной» токсикологии, была очень широкой, и развитие исследований по обнаружению мышьяка показательно для прогресса, достигнутого в ней. Вывод о том, стал ли умерший жертвой отравления мышьяком или нет, мог быть, казалось бы, сделан без тени сомнения.

На этом фоне весной 1952 г. произошло одно из тех событий, которые много раз в ходе истории привлекали к токсикологии всеобщее внимание, подвергая ее суровым испытаниям и побуждая к новым достижениям. Событие это разыгралось на юго‑западе Франции – в Пуатье. Оно свело на нет ощущение уверенности в точности результатов прежних исследований и показало, что токсикологию ожидают новые загадки и сомнения.

В центре событий находилась женщина, обвинявшаяся в убийстве посредством мышьяка по меньшей мере двенадцати человек. Ее имя было Мари Беснар, урожденная Девайо. Но прозвали ее «черная вдова из Лудена».

**9**

*1949–1961 гг. – чудовищное дело Мари Беснар. История «черной вдовы из Лудена». Тринадцать случаев смерти за период с 1927 по 1949 г. Эксгумация Леона Беснара. 21 июля 1949 г. – арест Мари Беснар. Эксгумация останков одиннадцати остальных умерших. Во всех, за одним исключением, наличие смертельных доз мышьяка. 20 февраля 1952 г. – первый процесс по делу Беснар. Новые эксперты. 1954 г. – второй процесс по делу Беснар. Третья группа экспертов. Семь лет в поисках правды. 21 ноября 1961 г. – третий процесс по делу Беснар. Микробы действительно поглощают мышьяк из почвы. Оправдание Мари Беснар за недостаточностью улик.*

21 июля 1949 г., в день ее ареста. Мари Беснар, урожденной Девайо, было пятьдесят три года. Землевладелица, она была одновременно крупным рантье в городишке Луден. Ниже среднего роста, с рано постаревшим лицом, покрытым несколько провинциальной косметикой, с бегающими глазками, спрятанными за круглыми стеклами очков, с тонкими губами – она по всему своему облику была типичным подобием большинства женщин французской провинции Вьенн, состоящей из деревень и городков, разбросанных имений, населенной мелкими крестьянами, арендаторами, ремесленниками, – края, где все знали друг друга, где деньги еще хранили в чулках, а досуг заполняли вином, хорошей едой, любовью и сплетнями.

И именно сплетня дала толчок делу Мари Беснар, затянувшемуся на многие годы. Сплетня, как обычно бывает в маленьких городках, пошла от жены начальника почты мадам Пинту.

Когда 25 октября 1947 г. после непродолжительной болезни скончался Леон Беснар, муж Мари, мадам Пинту сообщила одному из своих «друзей» помещику Огюсту Массипу, будто Леон Беснар сказал ей незадолго до своей кончины, что его отравила жена. Это подозрение, по словам мадам Пинту, он высказал в тот момент, когда Мари Беснар провожала к выходу обоих лечащих врачей – доктора Галлуа и доктора Шованеля, а жена начальника почты осталась одна возле умирающего. Огюст Массип, который ютился с двумя своими слабоумными братьями в почти пустом господском доме своего разоренного поместья, где было всего две койки с соломенными матрацами, кучи старого тряпья и горы грязной посуды, передал слова жены начальника почты в уголовную полицию города Пуатье. Там это сообщение попало в руки следственного судьи Пьера Роже, которому едва исполнилось двадцать пять лет. Он и инспекторы Сюртэ Ноке, Шомье и Норман дали такой ход делу Беснар, что оно потом не могло остановиться целых четырнадцать лет.

История должна согласиться с Роже, что даже небольшой части тех странных происшествий вокруг Мари Беснар, на след которых он напал, было вполне достаточно, чтобы заподозрить убийство путем отравления. Но первоначальные следственные действия не зашли пока так далеко, ибо мадам Пинту стала отрицать, будто подозревала Мари Беснар в убийстве. Но в Лудене нашлись и другие жители, которые питали подозрение к Мари Беснар. В хозяйстве Беснаров в мае 1947 г. работал двадцатилетний немецкий военнопленный по фамилии Диц. Его считали любовником Мари Беснар, которая была на тридцать лет его старше. По слухам, Леон Беснар сказал как‑то, что он больше не хозяин в своем доме, а слуга своего батрака. До появления этого молодого немца жители Лудена были взбудоражены потоком анонимных писем скабрезного содержания. Эти письма доктор Эдмон Локар, видный пионер научной криминалистики из Лиона, сличил с образцами письма, взятыми у Мари Беснар. Локар установил, что Мари является автором этих писем, которые, как учат бесчисленные примеры из истории криминалистики, имели своим истоком неудовлетворенное половое влечение. Правда, Мари Беснар упорно отрицала, что она является сочинительницей сомнительных писаний. Но против нее говорило то, что поток анонимных писем прекратился с того момента, как немец Диц приступил к своей службе.

Инспектор Ноке пришел к убеждению, что в данном случае мотив возможного отравления ядом Леона Беснара очевиден: одержимая любовной похотью женщина устранила своего старого мужа, чтобы получить возможность беспрепятственно жить с молодым немцем. После смерти мужа она совершила несколько длительных путешествий вместе со своим слугой на собственном автомобиле «симка», а когда Диц в мае 1948 г. вернулся в Германию, она продолжала поддерживать с ним связь и добилась наконец того, что в 1949 г. он снова появился в Лудене, заявив, что здесь он с помощью Мари хочет найти себе постоянное занятие и обосноваться, чего ему не удалось сделать у себя на родине.

Таковы были первые результаты расследования, когда 16 января 1949 г. умерла мать Мари Беснар, восьмидесятисемилетняя Мари‑Луиза Девайо, урожденная Антиньи, с 1940 г. проживавшая в доме Беснаров. Доктор Галлуа, который считал причиной смерти Леона Беснара сначала приступ печеночной колики, позже – стенокардию, а в конечном итоге (после анализа мочи) – уремию, лечил и Мари‑Луизу Девайо. В январе 1949 г. в Лудене свирепствовала страшная эпидемия гриппа. Когда больная впала в бессознательное состояние и у нее развился односторонний паралич, Галлуа решил, что это результат упадка сил вследствие гриппа, осложненного кровоизлиянием в мозг. Во всяком случае, смерть старой женщины стала той искрой, которая превратила тлевший до сих пор подспудно жар подозрений в настоящий пожар. Инспектор Ноке узнал, что покойная осыпала свою дочь упреками из‑за ее связи с немцем и предстоящего его возвращения. Ноке поэтому заподозрил, что Мари Беснар после мужа умертвила и мать, чтобы дождаться молодого немца и беспрепятственно предаваться своей страсти. Ноке удалось наконец заставить мадам Пинту отказаться от ее прежней сдержанности. Она очень убедительно описала последние часы жизни Леона Беснара: его боль в желудке, рвоту, а также разговор между умирающим и ею.

– Ох, что же они мне дали?

– Кто, немец?

– Нет, Мари… Мы собирались есть суп. Я увидел в моей тарелке что‑то жидкое. Мари налила туда же суп. Я съел, и у меня тут же началась рвота.

Когда Ноке в ходе этого разговора узнал, что Мари Беснар наняла одного парижского частного детектива, пользующегося сомнительной репутацией, по имени Локсидан, и тот пытался запугать мадам Пинту, у него исчезли последние сомнения.

9 мая в Пуатье было решено извлечь через два дня из могилы на Луденском кладбище труп Леона Беснара и произвести его исследование на предмет обнаружения яда. Эксгумация была поручена врачам Сета и Гийону и смотрителю кладбища Жану Морену, а токсикологическая экспертиза – доктору Жоржу Беру, директору Лаборатории полицейской техники в Марселе, который уже десятки лет пользовался большим авторитетом на юге и юго‑западе Франции, а в 1938 г. благодаря выходу в свет книги «Очерк по криминологии и полицейской науке» стал известен и за пределами Франции. Части трупа, пролежавшего в земле уже более полутора лет, были помещены в стеклянные сосуды, помечены и отправлены в Марсель. Д‑р Беру сообщил в Пуатье о результатах своего исследования. Согласно его заключению, в ходе качественного и количественного анализов на содержание яда в теле Леона Беснара он обнаружил 39 миллиграммов мышьяка на килограмм веса тела, то есть такое количество, которое должно рассматриваться как доказательство отравления мышьяком, приведшего к смерти. Это побудило Роже распорядиться об эксгумации трупа матери Мари Беснар. Исследование, проведенное тем же Беру, привело к обнаружению в теле покойной мышьяка в количестве не менее 58 миллиграммов на килограмм веса.

21 июля 1949 г. в Лудене появились инспектора Ноке и Норман и доставили Мари Беснар и Дица в Пуатье к следственному судье Роже. Столь же злобно, сколь и оригинально Мари Беснар описала потом юного следственного судью: «У него была ненормально большая голова, и он смотрел на меня как через сито».

Наружность землевладелицы из Лудена и ее непоколебимое, отталкивающее хладнокровие не вызвали у Роже симпатии. После длительного допроса он распорядился о ее предварительном аресте и велел отвести в тюрьму Пьер‑Леве. Дица он тоже подверг пристрастному допросу. Поскольку немец держался стойко и отрицал всякую любовную связь с Мари Беснар, его пока отпустили. Все, что делал Диц после этого, было хотя и объяснимо, но мало способствовало тому, чтобы рассеять тучи подозрений в убийстве, сгустившиеся над Мари Беснар. Он не стал ждать, пока в Луден прибудут его документы, находившиеся по случаю его возвращения во Францию в Париже, и в ту же ночь пересек франко‑германскую границу, чтобы никогда более не возвращаться.

Расследование по данному делу, которое Роже все более продвигал вперед, привел прямо‑таки к каким‑то мистическим результатам: была установлена целая серия крайне подозрительных случаев смерти в семье Беснар, а также среди их соседей и друзей. Чем дальше продвигалось расследование, тем чаще приходилось обращаться назад, к прошлым временам вплоть до 1927 г. Вскоре после первой мировой войны тогда еще двадцатитрехлетняя Мари Беснар (дочь мелкого крестьянина Пьера Эжена Девайо из Сен‑Пьер‑де‑Майе) вышла замуж за своего двоюродного брата Огюста Антиньи, работавшего на ферме. Оба они в качестве домоправителей переехали в замок Мартен. Огюст Антиньи умер в 1927 г., как было тогда установлено, от туберкулеза. Но Беру, эксгумировав Антиньи, обнаружил в останках покойного, хотя со времени захоронения прошло более 20 лет, целых 60 миллиграммов мышьяка на килограмм веса, что служило явным признаком смертельного отравления мышьяком.

В 1929 г. Мари Беснар вышла замуж вторично, на этот раз за Леона Беснара, и тем самым поднялась на следующую ступеньку социальной лестницы. Беснар имел дом в Лудене, москательную лавку и усадьбу в сельской местности. Мари Беснар не родила ему детей, но оказалась прекрасной хозяйкой и столь же целеустремленной, сколь и расчетливой накопительницей. Беснар находился в откровенной вражде со своими родителями, жившими по соседству. Он не мог простить им, что они постоянно оказывали предпочтение не ему, а его сестре Люси. Свою вражду он перенес и на других родственников. Однако Мари Беснар не обращала на эту враждебность никакого внимания и достигла того, что двоюродная бабушка ее мужа – вдова Луиза Леконт – в своем завещании назвала ее своей наследницей наряду с сестрой Беснара Люси. Вскоре после этого, 22 августа 1938 г., Луиза Леконт скончалась. Правда ей было уже за восемьдесят. О наличии у нее симптомов отравления мышьяком тогда ничего не говорили. Но токсикологическая экспертиза останков покойной, произведенная Беру, показала наличие 35 миллиграммов мышьяка на килограмм веса. А кроме того, выяснилось, что Мари Беснар находилась у смертного одра Луизы Леконт и до этого часто посылала ей вино.

Через два года после этого, 2 сентября 1940 г., умерла бабушка Леона Беснара вдова Гуэн. Она была единственной родственницей, от которой Леон, по его словам, видел хоть что‑то хорошее. Он был ее единственным наследником. Мари Беснар с мужем тоже посетили эту совсем старенькую даму незадолго перед ее кончиной. О ее последних часах тоже нет точных врачебных сведений. Несмотря на это, 23 августа 1949 г. была назначена эксгумация ее останков. Но они плохо сохранились и показали столь мизерные следы мышьяка, что обвинение в убийстве здесь было бы никак не оправдано.

Тем подозрительнее были данные токсикологической экспертизы, когда по распоряжению Роже был эксгумирован труп отца Мари Беснар – Пьера Девайо, умершего 15 мая 1940 г. Причиной его смерти в 1940 г. считали апоплексический удар. В момент смерти отца Мари Беснар не было в родительском доме. Тем не менее анализ на яд показал наличие 30 миллиграммов мышьяка на килограмм веса покойного. Мари Беснар унаследовала усадьбу отца; тогда же ее мать переехала в дом Беснаров в Лудене.

А уже 19 ноября 1940 г. умер еще один родственник – свекор Мари Беснар – Марселен Беснар, которого она очень часто посещала, несмотря на вражду между ним и ее мужем. И на этот раз Мари не была возле больного в момент его смерти. Старик много лет страдал прогрессирующими проявлениями паралича, и д‑р Деларош, его домашний врач, посчитал причиной смерти старческую слабость и инсульт. Однако Беру обнаружил в эксгумированных частях его трупа 38 миллиграммов мышьяка на килограмм веса. В результате этой смерти Беснары унаследовали 227 734 франка.

Спустя лишь несколько недель, 16 января 1941 г. пришла очередь свекрови – Мари‑Луизы Беснар, ушедшей вслед за своим мужем в возрасте шестидесяти шести лет. Приведшая ее к смерти болезнь длилась девять дней. Доктор Деларош диагностировал воспаление легких. Мари Беснар ухаживала за своей свекровью до последней минуты. Половина наследства после покойной пришлась на долю Люси Беснар, а другая половина, в сумме 262 325 франков, досталась Мари и Леону Беснарам. Роже, который в каждом из этих случаев смерти подозревал умышленное отравление, велел эксгумировать труп Мари‑Луизы Беснар. Беру обнаружил в нем 60 миллиграммов мышьяка на килограмм веса.

И опять всего несколько недель прошло до следующей смерти. 27 марта. 1941 г. Люси Беснар, сорокапятилетнюю сестру Леона, нашли повесившейся в родительском доме. Тщательного расследования этого случая не было, хотя самоубийство Люси было несколько странным, ибо она была очень набожной католичкой. С другой стороны, Люси тяжело переносила свое одиночество после смерти родителей. Когда же Беру и в ее останках обнаружил 30 миллиграммов мышьяка на килограмм веса, самоубийство Люси стало выглядеть еще более удивительным, чем в 1941 г. У Роже появилось подозрение, что Леон Беснар содействовал отравлению сперва своих родителей, а затем и своей сестры и повесил сестру, чтобы инсценировать самоубийство. Позднее, предполагал Роже, сам Беснар пал жертвой своей жены‑убийцы, когда мотивы убийства у нее изменились и она из убийцы ради наживы превратилась в убийцу на сексуальной почве.

Списку подозрительных случаев смерти, казалось, не было конца. 14 июля 1939 г. скончался сосед Беснаров шестидесятипятилетний кондитер Туссен Ривэ. В качестве причины смерти была записана «чахотка». Его жена – Бланш Ривэ – обратилась к Беснарам за помощью в управлении ее небольшим состоянием. Впоследствии она переехала к Беснарам и в обмен на маленькую пожизненную ренту передала им в собственность свой дом. А уже 27 декабря 1941 г. она умерла. В качестве причины ее смерти также значился туберкулез. Ухаживала за больной Мари Беснар. Когда Роже распорядился послать в Марсель части трупов обоих Ривэ для анализа на яд, в обоих случаях оказалось по 18 миллиграммов мышьяка на килограмм веса.

Но и на том серия смертей не кончилась. В мае 1941 г. две пожилые кузины Леона Беснара – Полина и Виржиния Лаллерон – нашли приют в доме Беснаров. Во время вторжения немецких войск во Францию они бежали из своего дома в Ле‑Труа‑Мутьер. Причем всю свою наличность Полина унесла в поясе, застегнув его вокруг живота. Когда 1 июля 1941 г. Полина умерла (по мнению д‑ра Галлуа, «от старческой уремии»), ее сестра настояла, чтобы наследницей их имущества сделать Мари Беснар. И уже 9 июля 1941 г. она последовала за Полиной в могилу.

Токсикологические исследования Беру дали на этот раз такие результаты: 48 миллиграммов мышьяка на килограмм веса у Полины, от 24 до 30 миллиграммов – у Виржинии Лаллерон. И опять‑таки речь шла о таких количествах яда, которые вряд ли позволяли Роже сделать какой‑либо иной вывод, кроме констатации убийства с помощью мышьяка.

Однако в пользу Мари Беснар был, во‑первых, тот факт, что, кроме мадам Пинту, а она только что‑то слышала, не было свидетелей, которые могли бы хотя бы в одном эпизоде уличить Мари в покупке мышьяка, в подмешивании его в пищу и в кормлении этой пищей потерпевших, а во‑вторых, тот факт, что почти ни в одном случае не наблюдались симптомы острого или хронического отравления мышьяком.

Первому из этих аргументов можно было противопоставить тот довод, что Мари Беснар была не первой в истории отравительницей, действовавшей с такой осмотрительностью, что против нее не существовало никаких свидетельств очевидцев. На второй аргумент можно было возразить, что число умышленных отравлений, которые остались навсегда нераскрытыми из‑за неопытности или невнимательности домашних врачей, просто безгранично.

Тем не менее Роже стремился к тому, чтобы обвинение, которое будет предъявлено Мари Беснар, базировалось не на одних только косвенных уликах. В ходе длившегося около двух лет расследования он испытал все средства, способные побудить Мари Беснар к признанию. Он прибегал при этом даже к таким методам, которые, особенно в эпоху Горона, считались классическими и самыми эффективными из арсенала Сюртэ. Так, он подсаживал в камеру Мари Беснар женщину‑шпика. Но бдительное недоверие и упрямство арестованной (а может быть, ее невиновность) оберегали ее от опрометчивых высказываний. Бесспорно, какую‑то часть присущей ей силы сопротивления Мари Беснар черпала из того факта, что ее защиту взял на себя один из известнейших парижских адвокатов. Вскоре после своего ареста Мари заручилась помощью таких авторитетных адвокатов, как Рене Эйо и Дюклюзо. Благодаря постоянно растущему интересу к этому делу в стране внимание ведущих парижских адвокатов, постоянно ищущих сенсационные дела, было привлечено к этой женщине из провинции. Рене Эйо в конце концов сам привез в Пуатье звезду адвокатуры, тогда уже шестидесятичетырехлетнего кавалера ордена Почетного легиона Альбера Готра. В течение целого дня Готра беседовал с арестованной.

Вероятно, Готра еще до своего визита к Мари Беснар решил, что этот необычный процесс ему упускать нельзя. Готра давно было ясно, что обвинение будет строиться по преимуществу на косвенных уликах, добытых токсикологической экспертизой, а по опыту он знал, что нет ничего легче, как выиграть предстоящий процесс, – для этого достаточно посеять с помощью не раз уже испробованных им способов недоверие к данным токсикологической экспертизы. В Марселе Готра получил некоторые сведения о работе Беру и полагал, что ему удастся «выбить Беру из седла». Насколько подробно он был информирован, можно судить по замечанию, которое он сделал, когда Мари Беснар возмущалась марсельскими токсикологами: «Не говорите плохо о своих врагах, ибо они спасут вас».

Когда после визита в Пуатье Готра взял на себя защиту Мари Беснар, сила сопротивления последней удвоилась, равно как и ее желание либо до последней возможности отрицать свою вину, либо отстаивать свою невиновность (а это значило размотать почти невероятное сплетение случайностей, роковых совпадений, недоразумений, лжи и сплетен).

И вот 20 февраля 1952 г. во Дворце юстиции в Пуатье начался процесс по делу Беснар. Красные мантии председателя суда Фавара и судей подействовали на Мари, как она сама потом сказала, «подобно виду крови», когда ее, одетую в черное, отороченное мехом пальто, с испанской шалью на голове и плечах, ввели в зал суда. Стоя, с застывшей улыбкой слушала она чтение обвинительного акта. Затем произошел маленький эпизод, чем‑то напоминавший дело Лафарж. Мари Беснар была обвинена в незаконном получении ренты за одну из умерших родственниц путем подделки ее подписи на квитанциях. Приговор гласил: два года тюрьмы и штраф в размере 50 тыс. франков. Это был, как говорится, только пролог, но пролог, намеренно включенный в сценарий судебного спектакля, чтобы бросить мрачную тень на характер подсудимой. Лишь после этого, на второй день, с выступлений свидетелей, вызванных прокурором Жиро, началась настоящая борьба. Каждому внимательному наблюдателю вскоре стало ясно, что показания всех свидетелей, кроме мадам Пинту, не имели существенного значения.

Спору нет, из нагромождения сплетен и слухов возник такой образ подсудимой, в котором можно было искать и найти черты хитрой, хладнокровной и расчетливой убийцы. Но ни одно из этих показаний не обладало силой подлинного доказательства. Многие из них скорее способны были породить сомнение относительно того, имела ли вообще подсудимая чисто техническую возможность осуществить то или иное из инкриминируемых ей убийств. Однако, как только появлялись подобные сомнения, представитель обвинения и председательствующий ссылались на одного и того же человека – Жоржа Беру. Он, мол, обнаружил яд. Он, мол, самый знаменитый токсиколог на юге Франции. Как яд попал в тела покойных, если не из рук убийц? И если ясно, что кто‑то давал потерпевшим яд, то кто, кроме Мари Беснар? Последняя во всех случаях что‑то выигрывала от этого – либо как алчная стяжательница, либо как охотница до любовных утех.

И 22 февраля снова и снова повторялась эта фамилия: Беру, Беру, Беру. Его имя приобрело большой вес еще до того, как он впервые переступил порог зала суда. С вечера 22 февраля все сосредоточенно ждали утра следующего дня, когда Беру должен был доложить о результатах проведенных им токсикологических исследований.

Пассивное поведение Готра и Эйо в течение первых двух дней судебного разбирательства вызывало некоторое удивление. Этому могло быть только два объяснения. Либо они как адвокаты из столицы явились на этот провинциальный процесс с изрядной долей высокомерия и зазнайства, либо же они не придавали всей этой игре слухов и наветов большого значения и ждали главных свидетельств, которые могло предъявить обвинение, – показаний экспертов‑токсикологов, чтобы именно с ними скрестить свои клинки. Но что казалось наблюдателям в Пуатье особенно подозрительным, так это та шутливая невозмутимость, с которой Готра ожидал наступления дня 23 февраля. Она производила впечатление затишья перед бурей. Но это было последнее затишье перед бурей.

Осталось неясным, каким образом в руки Готра попала переписка между Роже и Беру, относящаяся к 1949 г., а также кое‑какая документация из марсельской лаборатории. Но так или иначе они находились у него. То, как он ими воспользовался, показало, как, впрочем, и весь процесс, что Готра был не только закаленным в боях профессионалом, который к тому же мастерски разбирался в естественнонаучных концепциях, но и человеком не очень‑то щепетильным в выборе средств для достижения своей цели, адвокатом, не чуравшимся дешевых эффектов и даже сознательно их использовавшим.

Утром 23 февраля, пробравшись сквозь возбужденную, ожидавшую его людскую толпу, Беру вошел в зал суда. Это был темноволосый, грузный, широкоплечий, казавшийся несколько малоподвижным человек, о котором Мари Беснар со злобой писала:

«Он выглядел не очень интеллигентно, но в сравнении со всеми его глупостями и ошибками все же достаточно прилично». Впечатление, которое производил Беру, не в последнюю очередь объяснялось чрезвычайно большим разрывом в развитии науки между Парижем и большей частью провинции, а исключения, вроде развития судебной медицины в Лионе, лишь подтверждали общее правило. Он принадлежал к старшему поколению и жизнь свою провел на юге, занимаясь, подобно многим своим сверстникам, помимо токсикологии, еще различными областями естественнонаучной и технической криминалистики вплоть до почерковедения.

Но сейчас, когда он вышел вперед и стал описывать проделанную им огромную работу, ему не хватало необходимого для суда блеска. Сухими словами набросал он картину затянувшихся на месяцы событий, вызывавших одну эксгумацию за другой. Стеклянные сосуды с материалом для исследований курсировали между Луденом и Марселем, со многими сотнями частей и частиц органов похороненных в разное время людей. Все исследования на мышьяк Беру проводил с помощью аппарата Марша, но прибегал и к измерениям изменений в цвете. Тысячи раз за последние тридцать лет в его лаборатории проводились подобные анализы, и Беру ничуть не сомневался в том, что установленные им в трупах количества мышьяка совершенно точны, в рамках, конечно, незначительных отклонений, неизбежных при любых измерениях. Он исследовал также многочисленные пробы почвы с примогильных участков на содержание в них растворенного мышьяка и пришел к выводу, что количество растворенного мышьяка в них намного меньше, чтобы им можно было объяснить наличие необычайно больших количеств мышьяка в трупах. Беру показал, что он не легкомысленный фанфарон, а эксперт, ограничивающийся пределами своей профессиональной компетенции. Когда председатель суда задал ему каверзный вопрос: «Утверждаете ли вы, что речь здесь идет об умышленном отравлении?», он дал отрицательный ответ: «О нет. Что‑либо в этом роде я бы никогда не смог заявить. Все сказанное мною сводится исключительно к тому, что я обнаружил в исследованных трупах мышьяк».

Беру в эту секунду и не подозревал, что несколько минут спустя он станет жертвой целого ряда судебных трюков, которые с дьявольским мастерством разыграет Готра, разрушив как ударами топора все здание токсикологических экспертиз. Впрочем, Беру стал жертвой не только этих трюков, но и тех упущений, в которых был виновен он сам и некоторые его сотрудники. Правда, упущения эти состояли в том, что Беру при проведении своих анализов не пользовался самыми новейшими методами. Но является по меньшей мере спорным, можно ли считать недостатком привязанность исследователя к тем методам, которыми он овладел в совершенстве. Как выяснилось позже, результаты Беру были бы не опровергнуты, а подтверждены даже при исследовании самыми современными способами. Ошибка, в которой он действительно был повинен, была совсем иного рода: он не обеспечил безукоризненной точности и аккуратности в организации лабораторной работы и в первую очередь пренебрег бюрократической системой регистрации и контроля, без чего лаборатория в наш массовый век рано или поздно будет попросту погребена под постоянно усиливающимся напором огромного количества анализов.

Готра начал с того, что допросил врачей – доктора Сета и доктора Гийона, которые на Луденском кладбище изымали необходимые для исследования части трупов и запечатывали их в стеклянные сосуды, предназначенные для Марселя. «Я убежден, – сказал он необычайно дружелюбно, – что вы работали с крайней осторожностью, пересчитали и занесли в список все стеклянные сосуды, прежде чем отправить их в Марсель…»

«Само собой разумеется, – ответил Сета, – мы работали с огромной тщательностью». Он добавил, что это необходимо для того, чтобы в лаборатории попали подлинные объекты исследования.

Готра взял со своего стола несколько списков и раздал их судьям, присяжным и журналистам. Право же, он не знает, заявил Готра, как при тех обстоятельствах, которые описал доктор Сета, надо назвать некоторые вещи, о которых сейчас пойдет речь. Очевидно, произошло нечто таинственное. Если господа сравнят списки, составленные у вскрытых могил доктором Сета, со списками доктора Беру о поступивших к нему объектах исследования, то окажется, что в Марселе зарегистрировано и исследовано значительно больше сосудов с частями трупов по делу Беснар, чем их было отправлено из Лудена. Если исключить возможность того, что число сосудов само по себе увеличилось по пути в Марсель, то остается только один вывод: в лаборатории доктора Беру сосуды с объектами исследования по разным уголовным делам были перепутаны и, так сказать, привнесены в дело Беснар извне. Наверно, доктор Беру сможет объяснить нам это наваждение?

Беру был так поражен этим неожиданным нападением, что не находил слов, а лишь растерянно озирался. «Успокойтесь, доктор, – продолжил дальше Готра с наигранным дружелюбием, за которым пряталась львиная хватка, – в таком большом институте, как ваш, подобное может случиться. Естественно, вы ежедневно получаете много сосудов с объектами для исследований. Поскольку эти сосуды устанавливаются на полках и могут быть легко друг с другом перепутаны, вашим ассистентам достаточно лишь раз быть невнимательными. Если, – и тут медоточивый голос Готра стал стал вдруг резким, – в списках из Лудена среди мертвых останков, например, мадам Гуэн значится мышечная ткань, а не внутренности, а в вашем заключении говорится применительно к случаю с мадам Гуэн об обнаружении большого количества мышьяка при анализе ее внутренностей, то, значит, произошла путаница и были исследованы части какого‑то другого трупа».

Беру, все еще растерянный, снял очки и вытер глаза своим желтым шарфом. Но Готра не собирался давать ему время прийти в себя. «В вашем заключении, – сказал он (и его голос зазвучал еще громче и угрожающе), – содержатся данные о мышьяке, обнаруженном в волосах Туссена Ривэ. Но у Туссена Ривэ была лысина. Мне это представляется еще одним наваждением. Уж не имеем ли мы здесь дело с подменой головы Ривэ головой неизвестного нам покойника из вашего института? Наконец, среди отчетов о ваших анализах имеется протокол об исследовании глаза вдовы Луизы Леконт. В списках же, составленных при эксгумации этой дамы, нигде об этом глазе не упоминается. Да это и не мудрено. Ведь вдова одиннадцать лет пролежала в земле, и надо еще поискать такой человеческий глаз, который смог бы сохраниться в течение столь долгого времени…»

Атака Готра была отнюдь не столь страшной, как это могло показаться в первый момент. Он коснулся лишь некоторых мелких несоответствий, которые бросились ему в глаза при придирчивом сравнении списков, но которые на фоне сотен отдельных объектов исследования не имели существенного значения для получения общего результата. Однако Готра так ловко выдвинул их на первый план, что в зале суда сложилось впечатление, будто вся работа Беру проходила в обстановке беспорядка и дезорганизации и вместо трупов из Лудена исследованию подвергались посторонние трупы. Готра знал, что не должен дать своему сбитому с толку и морально подавленному противнику из Марселя сгладить это впечатление.

Учитывая все это, он продолжал наступление, позволив себе даже такой вопрос: а может быть, обнаруженный мышьяк происходит вовсе не из исследованных трупов, а из тех стеклянных сосудов, которые Беру предоставил для транспортировки объектов исследования? «Другими словами, я спрашиваю, были ли эти сосуды чисты и свободны от мышьяка?»

Беру к этому моменту настолько овладел собой, что, повысив голос запротестовал против этих подозрений, глубоко убежденный в своей правоте.

– Итак, – спросил Готра, – сосуды каждый раз чистили и стерилизовали, прежде чем послать их в Луден?

– Разумеется! – воскликнул Беру.

– Ага, – сказал Готра, – ну, в таком случае должен вам сказать, что это расходится с той информацией, которой я располагаю…

И Готра вызвал в качестве свидетеля смотрителя кладбища Морена. Морен сказал, что немало сосудов возвращалось из Марселя совсем грязными и не очищалось даже в Лудене. Можно спорить, был ли в данном случае Морен самым подходящим свидетелем, и удивляться тому, что Готра не спросил об этом гораздо более компетентного в этом вопросе доктора Сета, которого он незадолго перед тем восхвалял как образец добросовестности в работе. Точно так же осталось, к примеру, непонятным, отчего Беру со своей стороны не потребовал допросить Сета, а будто парализованный (по выражению одного журналиста), «позволил загнать себя в угол». Волнение в зале суда росло. Репортеры устремились вперед, засверкали вспышки фотоаппаратов и тем еще больше привели Беру в состояние замешательства.

Готра лучше, чем кто‑либо в зале, знал, на какой зыбкой почве он держится, и что ему нужно продолжать атаку, чтобы не провалиться. Взяв копии писем, он раздал их участникам процесса.

Здесь, заявил Готра, у него имеется несколько интересных посланий доктора Беру следственному судье Роже. Небрежным движением руки он достал письмо, как будто оно являло собой один пример из множества других подобных. Затем Готра потребовал от Беру, чтобы тот сказал, писал ли он Роже следующую фразу (да или нет?): «Если Вас не удовлетворит мой отчет о проведенных анализах, я просил бы Вас сообщить мне об этом, чтобы я смог внести необходимые изменения…»

Стало ясно, что теперь он ставил под удар не аккуратность Беру, а его порядочность. Он обвинял Беру, будто тот приспосабливал свои исследования к пожеланиям следственного судьи. Глубокое возмущение, охватившее Беру, помогло ему в один миг справиться с растерянностью. Дрожащим от гнева голосом он спросил, как могла такого рода переписка попасть в руки представителей защиты? «Я не фальсифицирую свои отчеты!» – вскричал он, и кровь прилила к его лицу. Само собой разумеется, заявил Беру, что в письме он не имел в виду ничего иного, кроме возможных стилистических изменений в отчете, которые облегчили бы суду понимание сложной материи. Но посеянное Готра с холодным расчетом подозрение, будто Беру действовал по указке следственного судьи, нельзя было рассеять никакими объяснениями и интерпретациями, какими бы дельными они ни были. Готра заявил: «Мне достаточно одной фразы… и, думаю, всем остальным тоже». И в тот же миг он обрушил на Беру еще один удар. Признает ли Беру, спросил он, что написал следственному судье следующую фразу, а именно: что он, Беру, с учетом своего многолетнего опыта в состоянии на глаз распознать в металлической бляшке, образовавшейся в аппарате Марша, мышьяк и отличить ее от металлической бляшки, содержащей другой металлический яд, например сурьму. Итак, писал Беру такую фразу или нет?

Беру подтвердил и попытался объяснить, почему он так написал. Но Готра прервал его: «Вы и теперь настаиваете на своем утверждении?»

Неясно, что могло побудить Беру к подобным высказываниям. В годы его учебы многие токсикологи действительно выработали у себя большие навыки по распознаванию мышьяка и сурьмы и при случае демонстрировали студентам свою виртуозность. Но экспертные заключения, от которых порой зависели жизнь и смерть, они никогда не составляли на глазок. Без сомнения, в случае с фразой из письма Беру, преднамеренно вырванной из контекста, можно говорить лишь о проявлении человеческой слабости, о желании подчеркнуть свой опыт перед следственным судьей, который по возрасту годился ему в ученики. Вероятно, Готра знал, что означала упомянутая выше фраза в действительности, и понимал, что он ни в коем случае не должен дать Беру возможности объясниться и привести иные цитаты из своего письма. «Да, – заявил Беру, – я настаиваю на этом утверждении». Он снова хотел что‑то добавить, хотел разъяснить свою позицию. Но Готра, как фокусник, уже держал в руке шесть запечатанных стеклянных пробирок, в которых, как он сказал, были бляшки, содержащие мышьяк и сурьму. «Итак, – воскликнул он, поднеся пробирки к Беру, – объясните нам, в каких пробирках находится мышьяк, а в каких – сурьма».

По всей вероятности, затеянная Готра игра провалилась бы, будь на месте Беру другой, менее провинциальный и менее скованный человек. Другой бы отверг это представление и объяснил бы, что означала процитированная фраза в надлежащем контексте. Но для этого нужна была личность, которая реагировала бы на изменение обстановки с той же молниеносной быстротой, с которой действовал Готра, а не потрясенный неожиданными ударами, задетый в своей чести и гордости человек. И он попал в расставленные Готра сети. Возможно, если бы в тот момент он мог бы спокойно собраться с мыслями, то он смог бы на глаз отличить мышьяк от сурьмы. Но сейчас – в момент максимального напряжения на глазах у всего зала…

С покрытым потом лбом рассматривал Беру пробирки. Затем он вернул три из них Готра и заявил, что в них содержится мышьяк, а в остальных – сурьма.

Глаза Готра засверкали. «Доктор Беру, – прогремел его голос на весь зал, – я хочу вам кое‑что сказать по секрету. Ни в одной из этих пробирок нет мышьяка. Все они содержат сурьму. Вот здесь имеется подтверждение лаборатории, из которой я получил эти пробирки». Разведя руками, он обернулся к судьям и присяжным, воскликнув с язвительной насмешкой: «Вот вам доказательство, что доктор Беру является именно тем специалистом, чьим анализам можно доверять!»

Какой‑то миг царила тишина. Затем раздался смех. Доктор Беру опустился на стул, а председательствующий Фавар тем временем просил тишины, но, когда это ни к чему не привело, прервал судебное заседание. Когда Беру покидал Дворец юстиции, он от волнения упал и поранился настолько серьезно, что на следующий день на заседании его представлял один из его ассистентов, доктор Медай. Но диспут об обнаружении яда в марсельской лаборатории уже и без того окончен.

Бесспорно, никто не знал лучше Готра, что он разыгрывал игру, которая не имела никакого отношения к тому, насколько верны были выводы Беру относительно наличия или отсутствия мышьяка. Бесспорно, Готра знал, что отдельные погрешности в ведении бумаг вносят столь же мало изменений в подавляющее большинство получаемых данных, как и чьи‑то слова о том, что некоторые из сотен стеклянных сосудов не были стерилизованы или что Беру в своих экспериментах прибегал к методам токсикологии, бытовавшим в его юные годы. Временный успех Готра был успехом его вышколенного в Париже интеллекта. Насколько он сам сознавал ограниченное значение своего театрального приема, видно из того, что после этого триумфа он никоим образом не настаивал на немедленном вынесении приговора.

Когда несколько растерянный суд предложил под давлением возникших недоразумений назначить новых экспертов и поручить им провести заново все анализы на яд, он немедленно согласился. Правда, Готра мог пойти на это, ибо лучше, чем суд в Пуатье, знал, что повторная эксгумация покойников, большинство из которых так долго покоились под землей, сможет лишь при очень благоприятных условиях дать такие материалы для исследования, которые позволили бы сделать безошибочные анализы на содержание яда. В истории судебной токсикологии лишь изредка случалось, чтобы можно было компенсировать крушение или опровержение первых анализов. Готра надеялся, что и в новых анализах он сумеет обнаружить слабые места и ошибки, которые позволят ему разрушить доверие к ним.

Рене Фабр, Кон‑Абрес, Анри Гриффон и Рене Пьедельевр – так звали новых экспертов, назначенных судом в Пуатье. Все четверо принадлежали к числу самых знаменитых судебных медиков и токсикологов, которыми располагал Париж в 1952 г.

Фамилия Пьедельевр нам уже встречалась: как судебный медик он был известен далеко за пределами Франции. Шестидесятитрехлетний Рене Фабр начал свою карьеру в 1919 г. в качестве главного аптекаря прославленного госпиталя Неккера. С 1931 г. он стал профессором токсикологии Парижского университета, а с 1946 г. – деканом фармацевтического факультета. Кон‑Абрес – поджарый, бородатый мужчина, стоящий на пороге пожилого возраста, – всю жизнь работал токсикологом. Наконец, Анри Гриффон – самый молодой из них – был руководителем токсикологического отделения лаборатории парижской префектуры полиции. Его имя было связано с первыми опытами, которые поставили достижения атомной науки на службу количественному и качественному определению мышьяка. Эта группа экспертов запросила примерно два года, чтобы, начав с повторного эксгумирования покойников в Лудене, провести все необходимые исследования.

На этот раз сам Пьедельевр наблюдал за эксгумацией трупов. Полный достоинства, седовласый семидесятилетний офицер ордена Почетного легиона расположился в главной капелле Луденского кладбища. Каждая отдельная часть трупа, предназначенная для исследования, приносилась к Пьедельевру и регистрировалась им самим тщательным образом. Он старался избежать любой ошибки. К его удивлению (и к удовлетворению Готра), оказалось, что при захоронении трупов после первой эксгумации с ними обошлись довольно‑таки небрежно. Добросовестность Сета, которую так хвалил Готра и которую он использовал против Беру, предстала теперь в очень сомнительном свете. Видимо, никто тогда не думал, что может состояться повторная эксгумация. Верхние черепные кости многих покойников были положены в одну могилу, и теперь невозможно было установить, кому они принадлежали. То же самое произошло и с останками внутренних органов, которые так смешались с землей, что отделить их было просто невозможно. Пьедельевр хорошо сознавал, что в этих случаях Готра тотчас же заявит, что любой обнаруженный мышьяк происходит из земли. Он опечатал многочисленные пробы почвы из самых различных слоев земли Луденского кладбища, чтобы еще раз проверить растворенность в них мышьяка.

Пьедельевр пользовался большим авторитетом в мире судебной медицины и любил его. Но никогда прежде ему не встречалось столь чудовищное зрелище, случай с таким большим количеством трупов, которые по десять и более лет пролежали в земле и от которых сохранились жалкие остатки. Лишь у некоторых трупов было еще возможно проверить части тела на содержание мышьяка. У остальных же анализу можно было подвергнуть только волосы – этот накопитель мышьяка, о котором современная теория токсикологии говорит как о важнейшем индикаторе вида, степени и длительности отравления мышьяком.

Остатки внутренних органов покойников и большая часть проб почвы были направлены в лабораторию профессора Кон‑Абреса, а кожа с голов и пробы волос, а также оставшиеся части проб почвы – в лабораторию Анри Гриффона в Париже. Готра, который был прекрасно осведомлен о состоянии исследуемого материала, спокойно ждал дальнейшего развития событий. Но вскоре после начала анализов он узнал, что, несмотря на большие трудности, вставшие перед исследователями, их результаты вряд ли будут благоприятны для Мари Беснар. Кон‑Абрес, который применял как аппарат Марша, так и новейшие методы спектрального анализа, установил, что исследуемый материал содержит 20 миллиграммов мышьяка на килограмм веса, что, учитывая мизерное количество предоставленного на исследование вещества, следовало рассматривать как подтверждение выводов Беру. Еще более тревожными были сведения, полученные Готра из лаборатории Гриффона: последний установил наличие в волосах Леона Беснара такого количества мышьяка, которое в сорок четыре раза превышало норму.

Эти данные в некоторой степени поколебали самоуверенность Готра. Его преследовала мысль, что Кон‑Абрес, Фабр и Гриффон смогут при возобновлении слушания дела подтвердить всем своим столичным авторитетом данные о высоком проценте мышьяка у «покойников Мари Беснар» и не дадут ему возможности повторить тактику, столь успешно примененную им против Беру. Он узнал, что Гриффон применил для определения степени содержания мышьяка в волосах методы исследования с помощью атомов, но не мог еще предполагать, что именно это обстоятельство поможет ему повторить тот спектакль, который он разыграл ранее против Беру. Правда, у Готра была еще надежда найти другие слабые места в позиции обвинения: например, он намеревался на этот раз признать наличие мышьяка и использовать иную тактику защиты. Тактика эта была того же рода, к которой адвокаты прибегали еще во времена Орфила, и, попросту говоря, состояла в том, чтобы, признав ставшие уже неопровержимыми данные о наличии мышьяка в организме потерпевших, утверждать, что яд попал туда не из рук преступника, а из кладбищенской земли.

Поначалу и такая тактика не очень обнадеживала Готра. Он знал, что назначенные судом эксперты достаточно старательны в работе, чтобы заранее суметь выбить у него из рук все воображаемые козыри. Гриффон, например, проделал обширные дренажные опыты с пробами почвы с Луденского кладбища, установив при этом, что в земле, бесспорно, имеется мышьяк, однако он либо вовсе не растворяется в воде, либо же растворяется в ней в минимальной степени.

Рене Трюо, профессор фармацевтики и токсикологии из Парижа,'ученик и сотрудник Фабра, захоронил в 1952 г. пучок волос, содержание мышьяка в которых было точно замерено, в особенно богатом мышьяком месте Луденского кладбища, установив там полицейский пост. Причем захоронение было проведено точно на той же глубине, на которой были погребены «покойники Мари Беснар». При контрольном исследовании этих волос в 1953 г. оказалось, что, в то время как волосы указанных покойников содержали чрезвычайно большое количество мышьяка, содержание мышьяка в захороненном более года назад пучке волос практически совершенно не изменилось. Такого рода данные не оставляли защите почти никаких шансов на успех, если она собиралась настаивать на том, что обнаруженный в трупах мышьяк происходит из кладбищенской земли.

Но Готра не собирался сдаваться. Будучи в безвыходном положении, он последовал примеру, который подавали ему многие выдающиеся защитники по уголовным делам. Он сам занялся изучением специальной литературы, касающейся токсикологического значения содержащегося в почве мышьяка, – и в результате этого к концу 1953 г. неожиданно прояснились тучи, сгустившиеся было над ним и Мари Беснар.

Готра разыскал публикации некоторых ученых, чья деятельность касалась, собственно, лишь пограничных областей токсикологии. Вернее, это были даже не токсикологи, а биологи или врачи, заинтересовавшиеся биологией. Первыми из тех, чьи работы попали в руки Готра, были Анри Оливье и Лепентр. Один из них – пятидесятисемилетний врач, руководитель лаборатории медицинского факультета в Париже, читающий курс биологии, а другой – Лепентр – руководитель лаборатории по контролю питьевой воды во французской столице.

В процессе работы с содержащей мышьяк водой случай привел их обоих к выводу, что в земле, должно быть, происходят какие‑то неизвестные еще процессы, благодаря которым имеющийся в ней мышьяк становится растворимым в гораздо больших количествах, чем токсикологи до сих пор предполагали. Эти процессы не имеют явной связи с чисто химическими процессами, на которых исключительно сосредоточивались токсикологи, когда исследовали растворимость мышьяка. Они были скорее биологического свойства и находились в прямой зависимости от деятельности почвенных микробов. Готра узнал, что есть множество почвенных микробов, которые применительно к обмену подразделяются на две большие группы: на таких, которые подобно человеку, нуждаются для своей жизнедеятельности в кислороде (их называют аэробными), и на таких, которые могут существовать без кислорода (анаэробные), черпая необходимую для своих жизненных процессов энергию из процессов брожения, решающую роль в которых играет вода.

Оливье и Лепентр ставили поучительные эксперименты. Когда в содержащую мышьяк землю, в которой при обычно проводимых токсикологами контрольных опытах с просачивающейся дождевой водой не оказывалось растворимого мышьяка, они добавляли определенные анаэробные бактерии, то мышьяк начинал растворяться в удивительно больших количествах и уносился водой. Если же в такую землю добавляли аэробные бактерии, мышьяк оставался нерастворимым. И везде, где в почве происходили процессы гниения или брожения вследствие деятельности анаэробных микробов, имелись предпосылки для прежде совершенно не предполагавшегося и обширного растворения мышьяка, находящегося в земле. Но где еще больше гниения и брожения, чем возле могил?

Готра внутренне заликовал, прочитав далее, что обнаружились особые связи между анаэробными микробами и человеческими волосами, ибо анаэробные бактерии на кладбищах (отнюдь не везде, но во многих местах), изымают жизненно необходимый им водород из серосодержащих соединений в волосах покойников. Там, где возникают эти сложные процессы, мышьяк в ходе своего рода обмена переносится прямо в волосы, попадая из тел отравленных покойников к корням волос, и не поддается удалению даже путем промывания.

Все соображения, выдвинутые Оливье и Лепентром, были идеями неспециалистов. Они, кроме того, не стремились проникнуть в суть замеченных ими явлений. Но одно было доказано неопровержимо – сильная растворимость мышьяка в воде и его перенос в волосы покойников вследствие деятельности почвенных микробов. Сами эти процессы еще не были изучены до конца. Они могли бы возникнуть в одной могиле, а в другой, расположенной совсем рядом с ней, – нет. Но для Готра встреча с этим новым феноменом стала тем лучом света в ночи, который он искал. Наконец‑то он получил материал, с помощью которого сможет подвергнуть сомнению официальную теорию токсикологии и тезисы Фабра, Кон‑Абреса и Гриффона. Большего он не хотел. Большего ему было не надо.

Готра связался с Оливье и Лепентром, а через них познакомился с другими врачами и биологами. Они уже ставили подобные опыты и были готовы проводить дальнейшие эксперименты, а также выступить в качестве свидетелей защиты. В первую очередь это касалось профессора Жана Кейлинга из французского Национального института земледелия и профессора Поля Леона Трюффера, который, невзирая на свои шестьдесят пять лет, был столь же вдохновенным, сколь и безупречным исследователем в новой области. Его репутация видного парижского клинициста и кавалера ордена Почетного легиона сделала его важнейшим из новых союзников Готра.

Для Готра наступила полоса удач. Ибо перед его глазами вскоре после первой беседы с Полем Леоном Трюффером открылись новые горизонты: то, чего он так долго и тщетно искал, а именно – более точные сведения о методе, с помощью которого Анри Гриффон работал над установлением количества мышьяка в волосах «покойников Мари Беснар», были у него в руках.

В тот момент атомная физика была для Готра в той же мере, что и для большинства его современников, еще книгою за семью печатями. Он пустился поэтому на поиски ученых‑атомников, от которых надеялся узнать, не содержатся ли в экспериментах Гриффона источники каких‑либо ошибок. Если удастся найти такие источники (а он горячо на это надеялся), то тогда Готра и увидит Гриффона «беспомощно барахтающимся в его сетях».

В конце концов он нашел такого консультанта прежде всего в лице известного далеко за пределами Парижа профессора судебной медицины Деробера. С его помощью он узнал, что методу обнаружения мышьяка в костях или волосах с помощью их радиоактивности, бесспорно, принадлежит большое будущее, а главное – осознал, о чем вообще идет речь применительно к этому методу.

В обычном состоянии мышьяк не бывает радиоактивным, то есть не выделяет никаких лучей. Однако его можно сделать радиоактивным, если поместить в атомный реактор и там обстрелять нейтронами – крохотными, электрически не заряженными атомными частицами. Последние улавливаются нормальными атомами мышьяка и превращают его в испускающий лучи элемент, чье излучение (как и любое иное радиоактивное излучение) можно измерить. Если на содержание мышьяка исследуются волосы, то, значит, их тоже следует поместить в атомный реактор. И если в них имеется мышьяк, он превратится в радиоактвный и его излучение можно будет измерить. Имеются три различных вида излучения, которое исходит от всякого радиоактивного элемента: альфа‑, бета – и гамма‑лучи. При первых двух видах речь идет об излучении, в ходе которого частицы из распадающихся ядер атомов выбрасываются в пространство. При гамма‑излучении, наоборот, речь идет о жестких рентгеновских лучах. В то время как при альфа – и бета‑излучениях число выброшенных частиц и их скорость можно измерить, при гамма‑излучении измеряются интенсивность гамма‑лучей и их частота. В ходе опытов, при которых надо обнаружить мышьяковое излучение в волосах, следует пользоваться прежде всего бета‑излучением. Чтобы установить количество имеющегося мышьяка, одновременно кладут в тот же реактор контрольное количество мышьяка, вес которого точно определен, также делают его радиоактивным и измеряют его бета‑излучение. Путем сравнения результатов измерения можно точно установить величину содержания мышьяка в волосах. Если, к примеру, известное количество мышьяка показало на счетчике Гейгера – Мюллера 1000 единиц, а неизмеренное количество мышьяка – 1500, то неизмеренное количество мышьяка в полтора раза больше, чем контрольное количество.

Трудность этого способа в настоящее время коренится в том, чтобы определить, как долго вещество, в котором ищут мышьяк, должно оставаться в атомном реакторе под обстрелом нейтронов. Для посторонних, в том числе и для Готра, поначалу не было ничего более странного, чем единицы измерения быстрого распада атомов – период полураспада. Под ним понималось время, в течение которого распадается половина атомов какого‑либо элемента. У разных элементов оно неодинаково. У радиоактивного мышьяка, например, оно равно 26,5 часа, а это значит, что в течение 26,5 часа распадается половина его атомов. Из оставшейся половины в следующие 26,5 часа распадается опять‑таки половина и так вплоть до окончательного превращения в неизлучающий элемент.

Если бы мы захотели вновь вернуть веществу радиоактивность и вызвать его излучение, следовало бы с помощью периода полураспада вычислить наиболее благоприятный отрезок времени, необходимый для того, чтобы в должной мере «зарядить» соответствующее вещество в атомном реакторе. Для мышьяка к тому времени было доказано, что периода его полураспада, то есть 26,5 часа нахождения в реакторе, вполне достаточно для последующего измерения.

Но после этого тотчас же возникла новая проблема. Человеческие волосы, в которых ищут мышьяк, от природы содержат некоторое число других элементов, которые вследствие помещения в атомный реактор тоже могут стать радиоактивными. Их излучение должно мешать измерению мышьяка и при известных обстоятельствах вести к полностью искаженным показателям. Скажем, волосы содержат углерод, кислород и водород, а также многочисленные следы таких элементов, как кальций, медь, серебро, калий, магний или натрий. Их радиоактивное излучение не является существенной помехой для измерения мышьяка, поскольку их период полураспада сильно отличается от свойственного мышьяку. Магний, например, распадается так быстро, что через два часа у него исчезает всякое излучение. Кальций в свою очередь имеет период полураспада, равный 164 дням, что, как видим, выходит далеко за пределы того времени, в течение которого измеряется излучение мышьяка. Опасность грозила со стороны других элементов, чей период полураспада был близок к периоду полураспада мышьяка, как, например, натрия с его 18 часами или калия с его 12,5 часа. Опасности, которые при этом грозят, не преодолены до сих пор. Их научились избегать лишь с помощью выше упоминавшегося наиболее благоприятного отрезка времени нахождения в атомном реакторе. В первую очередь, однако, занялись опытами по удалению мешающих элементов химическим путем из содержащих мышьяк волос до того, как начнут измерять излучение мышьяка. Извлеченные из атомного реактора волосы обрабатывали химическими реактивами, такими, как соляная кислота и сероводород, осаждающими натрий, калий и иные вещества, о которых шла речь.

Для Готра знание этих основ, как бы интересны и поучительны они ни были, означало лишь прелюдию. Начиная с того момента, когда он узнал, что радиоактивный анализ, или, как его позже назвали окончательно, нейтронно‑активационный анализ мышьяка, все еще связан с трудностями и имеет неразрешенные проблемы, росла его надежда на то, что он сможет уличить Гриффона в какой‑нибудь небрежности, ошибке, поспешном выводе – будь они даже ничтожно малы. И ему действительно недолго оставалось ждать исполнения этой надежды.

Профессор Деробер обратил его внимание на то, что Гриффон, несомненно, совершил ошибку, которая относится к числу кардинальных ошибок из тех, какую только может совершить любой токсиколог. Неважно, что именно толкнуло его на это, легкомыслие или же честолюбивое стремление благодаря делу Беснар навсегда связать развитие радиоактивного метода со своим именем, – во всяком случае, он не стал ожидать окончания стадии разработки и испытания нового метода. Он поместил волосы Леона Беснара под нейтронное облучение в атомный реактор не на 26,5 часа, а лишь на 15. Из‑за этого, бесспорно, «подскочило», как выразился Деробер, опасное для точных измерений излучение натрия. Правда, это не вело неизбежно к неправильным результатам, но все‑таки создавало возможность ошибок.

Готра торжествовал во второй раз. В конце 1953 г. он для вящей уверенности обратился еще к некоторым британским атомным физикам. Они подтвердили то, что ему уже было известно.

Когда 15 марта 1954 г. наступил час возобновления слушания по делу Мари Беснар, Готра чувствовал себя сильным, как никогда прежде. У него не было никаких сомнений, что и эту новую битву он тоже выиграет.

Мари Беснар большую часть времени, на которое был прерван процесс, провела в тюрьме в Пуатье, но в июне 1953 г. была переведена в Бордоскую тюрьму, ибо именно Бордо предстояло стать местом проведения второй части процесса.

Обвинителем на этот раз был прокурор Стек, а председательствующим – Поркери де Буасрэн, внешне немного резкий, но внутренне вполне уравновешенный человек. Оба они не предчувствовали еще какая борьба им предстоит. Стек был убежден, что отныне он имеет дело с экспертами‑токсикологами, чьи выводы больше никому не удастся поколебать. Все они подтвердили наличие абсолютно смертельных доз мышьяка у двенадцати покойников. Они констатировали, что такие количества мышьяка ни при каких обстоятельствах не могли проникнуть в трупы из земли.

Интерес общественности к Мари Беснар и ее делу начиная с 1952 г. благодаря публикациям в печати был настолько сильно подогрет, что 15 марта 1954 г. в Бордо собрались любопытные и журналисты со всех концов света.

В качестве пролога во второй раз состоялся длившийся целый день марш свидетелей обвинения из провинции Вьенн. Он дал так же мало основательных доказательств, как и во время первого процесса, и лишь снова принес поток слухов и описаний характера Мари Беснар, которые представляли ее как несимпатичное, жадное, расчетливое, чуть ли не болезненно‑сексуальное существо, но никоим образом не как убийцу.

Готра, Эйо и молодая привлекательная адвокатесса из Бордо Фавро‑Коломбье вели более менее громкую и ожесточенную перебранку с многочисленными свидетелями.

Но эта перебранка, как и в 1952 г., представляла собой лишь шумную, бесполезную увертюру к решающему акту, в котором Мари Беснар, бледная и больная после долгого пребывания в тюрьме, но все еще полная бдительности, полностью отошла на задний план, лишь только началось сражение с экспертами и экспертов между собой.

Готра остерегался всерьез выступать против результатов, полученных Кон‑Абресом и Фабром при проведении исследований на обнаружение в трупах яда. Их весомость и безупречная доказанность были столь велики, что ему не приходилось рассчитывать на успех. Да он и не опасался этих результатов. Его с дьявольским рвением отточенная шпага была направлена исключительно против Анри Гриффона, о котором Мари Беснар впоследствии с глубоким презрением к каждому, кто выступал против нее, писала, обозвав его «смешной рыбой»: «Ноги в семь сантиметров и все остальное соответствующее. Он был очень мал ростом. Он имел неприятный вид человека, уверенного в самом себе, а любого другого не ставящего ни в грош. Он был слишком молод, чтобы извлечь какие‑нибудь уроки из собственного опыта». Наверно, такая характеристика, вышедшая из‑под пера Мари Беснар, не вполне соответствовала действительности, но она по крайней мере позволяет как‑то объяснить ту ненужную свару, в которую Гриффон (проделавший, впрочем, важную работу) вовлек себя и обвинение. Суетность, жгучее честолюбие, огромное самомнение и, наконец, недостаточное чувство ответственности, свойственное молодому поколению, во многом утратившему за время войны и немецкой оккупации усердие и добросовестность в работе, – всем этим можно объяснить то, что в данном случае произошло. Председательствующий вынужден был сделать Гриффону замечание, что методы его работы оставляют неблагоприятное впечатление. Вся бессмысленность этой ссоры стала ясна позже, когда оказалось, что вообще не было необходимости использовать еще недостаточно зрелый метод нейтронно‑активационного анализа. Повторные исследования показали, что, хотя Гриффон поторопился с выводами и не придерживался особенной точности в работе, ему все же повезло. Вывод, что доза мышьяка, содержащаяся в волосах покойников из Лудена, является смертельной, оказался правильным. Но к такому же выводу можно было прийти и с помощью уже испытанных, неоспоримых привычных методов, к которым прибегли Фабр и Кон‑Абрес. Многое говорит о том, что лишь честолюбивое желание Гриффона быть первым и блеснуть познаниями в атомной физике поставило его под удар Готра. Впрочем, быть может, все действительно сводилось к его самомнению, которое не позволило ему, по‑видимому, даже предположить, что адвокат сможет разгромить его в столь сложной области, как атомная физика.

Как бы то ни было, адвокат тщательно подготовился к атаке, перед которой он прочел суду своего рода учебный курс по атомной физике и нейтронно‑активационному анализу мышьяка. Будучи дилетантом, наконец что‑то понявшим в незнакомой материи, он смог растолковать ее непосвященным лицам.

Лишь когда он обрел уверенность в том, что его понимают, когда каждый присяжный точно знал, что именно означают 15 или 26,5 часа периода полураспада, – лишь тогда Готра перешел в наступление, обвинив Гриффона в том, что тот самонадеянно избрал неправильное «время обстрела» мышьяка в атомном реакторе и тем самым ценность всех его результатов сведена к нулю.

Удивление, вызванное его неожиданным выпадом, было огромным. Побледневший представитель обвинения остолбенело уставился на Гриффона. Председательствующий, судьи и присяжные подались всем телом вперед, боясь пропустить хоть слово.

Гриффон, хоть и был взволнован, в первый момент реагировал на заявление защитника с высокомерием ученого, который не собирается допускать вмешательства неспециалиста в свою область.

Но на Готра это позерство не произвело никакого впечатления. Он так ставил вопросы, что каждому непосвященному бросалась в глаза по крайней мере одна многозначительная деталь: держал ли Гриффон волосы под облучением в ядерном реакторе 15 или 26,5 часа? Правильным было это время или нет? Существовала ли в данном случае опасность ошибки или нет? Гриффон пытался объяснить, что примененный им метод так нов, что не исключает различий во мнениях экспертов, в частности по вопросу выбора той или иной процедуры его применения.

Готра заметил, как в этот момент в зале суда зародилось столь желанное для него сомнение, так же как и то, что волнение Гриффона усилилось и готово выплеснуться во взрыве возмущения. И он повторил свой вопрос: «Правильно или нет было выбрано время облучения, равное 15 часам?» Еле сдерживающий себя, Гриффон отпарировал, что подобным образом ставить вопрос нельзя, ибо имеются различные мнения относительно того, что считать «правильным», а что «неправильным». Но через несколько мгновений он, очевидно, почувствовав, как вокруг него растут сомнение и недоверие, взорвался. Видимо, для человека, приехавшего в Бордо, чтобы пожать лавры славы эксперта, разоблачившего Мари Беснар с помощью таинств атомной физики, было совершенно непереносимо терпеть крушение из‑за злонамеренных выходок дилетанта с его рассчитанными на публику мелочными вопросами.

Гриффон стал стучать кулаками по столу. «Вы хотите меня учить? – кричал он, – Разыгрываете из себя специалиста?»

«Нет, – холодно ответил Готра, – Но господин Деробер и другие являются специалистами». Он ознакомил Гриффона с тем, что они думают о достоверности его методов работы. Он взмахнул их заключением и огласил его содержание. «Вот они – эксперты», – подытожил он и продолжал: «А здесь сказано, что думают о вашей работе в Англии».

«Англичане, – бросил в ярости Гриффон, – не авторитеты в этой области».

«Тогда, – резким, ледяным тоном сказал Готра, – я рекомендую вам поехать в Англию и поучить англичан».

В лице представителя обвинения не было ни кровинки. Растерянно взирал он на драму, которая разыгрывалась перед ним. Эксперты работали целых два года. Он надеялся, что в их работе не будет уязвимых мест, к которым Готра мог бы придраться. И вот теперь – теперь он беспомощно взирает на то, как непредвиденная беззаботность и несдержанность одного‑единственного человека дала в руки Готра возможность посеять то самое сомнение, которое в 1952 г. уже однажды подвело обвинение.

Когда Готра покончил с Гриффоном, он добился того, на что он рассчитывал в первой части избранной им стратегии защиты: доверие к результатам анализов на яд было вновь подорвано. Он улыбался Мари Беснар с насмешливой уверенностью в победе, и серые узкие губы подсудимой в свою очередь вытягивались в улыбку. Однако он понимал, что главный бой еще впереди, и продолжал наступление.

«Наличие яда в покойниках, много или мало, да или нет – что все это вообще значит? – так начал он главную стадию своей атаки, – Ведь никто никогда не видел, чтобы в руках Мари Беснар был мышьяк, никто никогда не был очевидцем того, что она давала яд кому‑либо из покойников. Эксперты обвинения утверждают, что яд мог попасть в организм потерпевших только из чужих рук. Но уже более ста лет токсикологи занимаются вопросом, растворяется ли в воде мышьяк, содержащийся в любой почве, и может ли он попасть в трупы умерших. И более ста лет они отрицали эту возможность. Но отрицали они ее лишь потому, что во всех своих прежних исследованиях они забывали, что почва представляет собой живой элемент, в котором разыгрываются миллионы процессов, о которых пока никто не знает. Они отрицали данную возможность и применительно к покойникам из Лудена. В течение двух лет они давали дождевой воде просачиваться через Луденскую почву и замеряли в ней количество мышьяка. Но они пренебрегли достижениями науки, которая как раз сейчас достигла расцвета, как и многие другие науки, чье развитие еще несколько лет назад считалось невозможным, а именно науки о физиологических процессах в почве.

Наверно, я первый, кто в этот исторический момент призывает представителей этой науки в зал суда в качестве свидетелей. Но я уверен, что в будущем ни один такого рода процесс не сможет обойтись без обращения к их знаниям. Я ходатайствую о допросе в суде господ Оливье, Лепентра, Кейлинга и Трюффера».

Тот, кто впоследствии читал отчет о следующих днях процесса Мари Беснар, воочию убедился, как с подачи Готра в более или менее застывшую область токсикологии проникает новый элемент – элемент брожения.

Готра действовал с величайшей осторожностью. Он знал, что приглашенные им в качестве свидетелей защиты Оливье, Лепентр и Кейлинг были людьми почтенными, но им еще не сопутствовал тот ореол славы или чинов, который вызвал бы особое доверие к их утверждениям в глазах судей и присяжных. Они были призваны лишь подготовить почву, на которую мог бы потом вступить и обеспечить окончательную победу Поль Леон Трюффер – член Академии наук и кавалер ордена Почетного легиона.

Показания Оливье, Лепентра и Кейлинга о значении почвенных микробов для растворения содержащегося в земле мышьяка вызвали сенсацию. Как от всего нового, от них исходили некие чары, которым поддавались даже те наблюдатели и журналисты, которые с трудом могли, а то и вовсе не могли следить за научной дискуссией экспертов.

«Очарования их экспериментов, – писал английский корреспондент Арман Стил, – не мог избежать никто, в ком жило влечение к неразгаданным тайнам мира, еще и потому, а может, именно потому, что они могли разрушить представления, утвердившиеся в токсикологии за целое столетие». И они разрушили их.

Представитель обвинения во второй раз столкнулся с сюрпризом, который поразил его как гром среди ясного неба, и не только его, но и экспертов, которые, не имея опыта и нужных аргументов, вступили в противоборство с неожиданно вторгшимися «чужаками» и их утверждениями. В отношении Оливье, Лепентра или Кейлинга обвинение могло еще попытаться высмеять их теории как ошибочные заблуждения, типичные для неспециалистов. Так, Кейлинга представитель обвинения назвал «партизаном от науки». Но с того момента, как в зал суда в качестве свидетеля защиты вошел Трюффер, все попытки такого рода стали беспредметными. Как и ожидал Готра, они разбивались о его репутацию, положение и внушительный облик.

В напряженной тишине весь зал слушал спокойное, деловое, сдержанное сообщение Трюффера. Если подытожить наиболее важные его положения, то они сводились к следующему: да, согласно его исследованиям, нельзя оспаривать, что почвенные микробы, особенно те, что живут в земле кладбищ, оказывают не поддающееся полному учету влияние на растворимость мышьяка и его попадание через почву в покойников и их волосы. Благодаря деятельности микроорганизмов мышьяк зачастую так сильно впитывается в волосы, что не может быть удален оттуда даже с помощью процессов промывания, которым обычно доверяют токсикологи. Более того, некоторые его эксперименты показали, что перемещающийся вследствие деятельности микробов мышьяк из земли может быть обнаружен даже в различных, отделенных друг от друга частях волос, как если бы это был мышьяк, проникший в волосы из тела. Тем самым теряет свою универсальную силу положение о том, что мышьяк, не происходящий из тела покойника, пропитывает все волосы покойника в целом и этим отличается от воздействия, которое оказывает на волосы мышьяк из тела. И последнее: в результате деятельности микробов содержание мышьяка в теле или волосах мертвеца может во много раз превышать его содержание в окружающей гроб земле. Из‑за этого возникают серьезные сомнения в правильности существовавшего до сих пор положения о том, будто возможность перемещения мышьяка из окружающей почвы в труп исключается, если эта почва содержит намного меньше мышьяка, чем труп.

Закончил свою речь Трюффер с внушительной скромностью: его опыты еще не закончены. Это лишь начало новой области исследований, которые требуют времени. Но совесть ученого заставляет его уже сейчас констатировать одно: прежние теории о растворимости и нерастворимости мышьяка, содержащегося в земле, больше нельзя рассматривать как незыблемые. Вероятность того, что большие количества мышьяка в трупах покойников из Лудена переместились в них из земли кладбища, нельзя отрицать уже сейчас. Он говорит только о возможности этого, но, как бы ни мала или неуловима была эта возможность, она – в пользу подсудимой.

Когда Трюффер закончил, обвинитель взглянул на Кон‑Абреса и Фабра, ища у них поддержки. В его взгляде сквозило требование занять определенную позицию и разбить новые теории Трюффера, заклеймив их как несостоятельные порождения спекулятивного духа. Но Фабр, как и Кон‑Абрес, прожили долгую жизнь, которая научила их как токсикологов никогда не исключать возможность ошибки и никогда не забывать о бесконечном многообразии природы и ее возможностей. Они испытывали глубокие сомнения, были скептически настроены. Но когда суд попросил их высказать свое мнение, оба заявили, что они не могут просто так отрицать «тщательность, точность и потенциальную истинность экспериментов и исследований Трюффера». Кон‑Абрес добавил, что есть лишь один путь – подвергнуть вновь возникшую проблему, которая, по всей видимости, имеет большое значение для токсикологии, обстоятельной научной проверке.

31 марта 1954 г. второй процесс над Мари Беснар пришел к тому же итогу, которым кончился первый, – к сомнениям и неуверенности. И Готра не медлил ни минуты, стремясь использовать время. С распростертыми руками он обратился к суду и присяжным, заявив, что не имеет ничего против предложения профессора Кон‑Абреса, ничего против тщательных поисков истины в последней инстанции. Но как долго продлятся эти поиски? Опять два года или того больше? Судя по прежнему опыту, такую возможность нельзя исключить. Он взывает к человечности. Он взывает к совести французской юстиции. Ни один из судей, ни один из присяжных не может взять на себя тяжесть ответственности, заставив Мари Беснар снова ждать в тюремной камере, пока наука достигнет единства взглядов по вопросу ее виновности или невиновности. Он требует свободы для Мари Беснар еще до того, как ее невинность будет доказана окончательно.

Суд совещался больше часа и решил, что новая группа экспертов должна изучить возражения Трюффера и остальных свидетелей защиты.

На период до составления нового заключения экспертизы и начала нового, третьего слушания данного дела Мари Беснар была выпущена на свободу под залог в 1200 тыс. франков.

Это было одно из самых сенсационных решений, вынесенных когда‑либо французским судом. 12 апреля Мари Беснар покинула Бордо, на короткое время с помощью Готра и Эйо остановилась в Париже, а затем вернулась в Луден – в свой старый, разграбленный тем временем дом. Надо сказать, что и теперь мало кто верил в ее невиновность.

Впечатление, которое она производила на любопытствующих и журналистов, регулярно появлявшихся в Лудене, было неодинаковым. Большинству она представлялась женщиной, убежденной в том, что после столь многих лет и стольких сомнений ни один суд не отважится осудить ее, даже если и будет сомневаться в ее невиновности. В ней видели убийцу, которая обязана своей свободой ошибкам обвинителей, ошибкам и человеческим слабостям экспертов и бессовестному использованию этих ошибок и слабостей ее защитником.

Тем временем вновь назначенный обвинитель Гиймен настойчиво стремился все же изобличить выпущенную на свободу Мари Беснар и опровергнуть те новые биологические положения, с помощью которых Готра сорвал второй процесс. Первой его целью было поправить дело после поражения, которое обвинение потерпело по вине Гриффона. Он мог считать большим успехом, что ему удалось привлечь прославленного французского атомного физика Фредерика Жолио‑Кюри, чтобы еще раз проверить работу Гриффона и окончательно устранить все сомнения относительно данных о наличии яда. Лауреат Нобелевской премии Жолио‑Кюри родился в 1900 г., а в 1948 г. он создал первый французский атомный реактор и организовал французский центр атомных исследований. Он был подлинным первооткрывателем той самой искусственной радиоактивности, которой воспользовался для доказательства наличия мышьяка Гриффон. Жолио‑Кюри медлил. Он боялся быть втянутым в скандальный и сомнительный процесс по делу Мари Беснар. Но в конце концов он взялся за работу, чтобы как ученый проверить возникшие сомнения относительно радиоактивного метода исследования мышьяка и устранить имеющиеся причины ошибок. Его работа длилась несколько лет. Жолио‑Кюри подтвердил, что хотя Гриффон и допустил определенные неточности, но его утверждения о наличии токсичных доз мышьяка были совершенно правильными.

Когда в 1958 г. Жолио‑Кюри умер, эту работу продолжил его ученик Пьер Савель. Он усовершенствовал рассматриваемый метод и неопровержимо доказал, что волосы покойников из Лудена содержат смертельные дозы мышьяка. Жолио‑Кюри и Савель не оставили Готра никакого шанса на успех, так что обвинитель мог торжествовать.

Но Гиймен знал, что даже окончательного подтверждения данных о наличии яда еще недостаточно для разрешения дела. Если не удастся опровергнуть тезис Готра о том, что мышьяк проник в трупы и волосы покойников из земли, то дело будет проиграно. Но оно будет проиграно даже в том случае, если останется хотя бы намек на вероятность того, что тезис Готра и утверждения его экспертов где‑то, когда‑то и при каких‑либо обстоятельствах могут оказаться правильными. После стольких лет и стольких заблуждений ни один присяжный не решится сказать «виновна», если у него на совести останется хотя бы малейшее сомнение.

Иной раз это кажется непостижимым, но ведь действительно не менее семи лет – с 1954 по 1961 год – шла борьба вокруг проблемы содержания мышьяка в земле Луденского кладбища, растворимости этого яда и роли почвенных микроорганизмов в этом. Исследования и эксперименты по этой проблеме суд поручил трем экспертам, пользующимся международной известностью: профессору Рене Шарлю Трюо – токсикологу из Парижского университета, профессору Альберу Демолону, а после смерти последнего – семидесятилетнему профессору Морису Лемуаню из Пастеровского института в Париже. Демолон и Ле‑муань были микробиологами и специалистами в области почвоведения. Лемуань руководил в Пастеровском институте отделом по исследованию ферментов. Кладбище в Лудене теперь не знало покоя. Там регулярно появлялись не только Трюо и Лемуань, проводившие необходимые эксперименты, но и эксперты Готра – от Трюффера до Оливье, не пропускавшие ничего, что могло бы подкрепить их новые тезисы. Трупы снова и снова извлекались из могил, а волосы и подопытных животных, наоборот, закапывали. Были эксгумированы и подвергнуты исследованию на яд покойники, не имевшие никакого отношения к делу Беснар и умершие не от отравления мышьяком. Огромная модель кладбища, точно скопированная с Луденского, стала местом обширных исследований движения подземных вод.

Наконец, разгорелась третья, и последняя битва. 17 ноября 1961 г. Мари Беснар препроводили из Лудена в Бордо и поместили в больничном отделении тюрьмы, а 21 ноября постаревшая, но все с таким же решительным видом она появилась на скамье подсудимых в третий раз. В третий раз перед судом прошла столь же неизбежная, сколь и бесполезная толпа свидетелей – от мадам Пинту до инспекторов Ноке и Нормана. Не пришли лишь свидетели, которые, подобно помещику Массипу, тем временем умерли. Стремясь избежать наказания за оскорбление генерала де Голля, Массип удрал в Алжир и, как писала со злобным удовлетворением Мари Беснар, «вернулся в Луден в гробу». Весь этот спектакль был так же бессмыслен, как и на двух предыдущих слушаниях данного дела, но его продолжали играть, будто бы в этом процессе речь не шла исключительно об одном‑единственном вопросе: происходили ли обнаруженные в телах покойников из Лудена и никем больше не оспариваемые дозы яда из почвы кладбища или такая возможность абсолютно исключена? Не имело никакого значения, что государственный обвинитель предложил выступить на процессе не только профессору Савелю, но и повторно – Кон‑Абресу и Пьедельевру, чтобы лишний раз подтвердить наличие смертельных доз яда. Готра на этот раз не смог предложить ничего иного, кроме некоторых из тех трюков, с помощью которых он много лет назад разгромил Беру. Но его склонность к театральным эффектам и судебным трюкам была, видимо, так сильна, что он не мог от них удержаться. Он еще раз проделал номер со сравнением списков, составленных при эксгумациях и при проведении лабораторных исследований. Причем на этот раз он сравнивал данные, записанные профессором Пьедельевром на Луденском кладбище в 1952 г., с лабораторными протоколами Анри Гриффона и Савеля об исследовании волос Леона Беснара. Поскольку Пьедельевр в своих данных упоминал лишь о коже с головы Леона Беснара, а не о его волосах, Готра решился на довольно смелое утверждение, что, следовательно, никаких волос Леона Беснара в Париж не посылали. Подобным же образом он пытался использовать тот факт, что волосы Леона Беснара, которые сначала исследовались Гриффоном, а впоследствии Жолио‑Кюри и Савелем, были в заключении Гриффона отмечены как имеющие длину 60 миллиметров, а в заключение Жолио‑Кюри – 75 миллиметров. Он утверждал на этом основании, что речь идет не об одних и тех же волосах. Он вынудил Пьедельевра разъяснить, что волосы человека после его смерти могут удлиниться еще на четверть своей прежней длины и что, само собой разумеется, вместе с кожей с головы Леона Беснара в Париж были отправлены и его волосы. Требование гражданского истца, чтобы Готра прекратил наконец эти леденящие душу шутки, оказалось очень кстати – он в них больше уже не нуждался.

Решающее значение имели судебные заседания, проходившие с 23 ноября по 1 декабря, когда полем битвы завладели Трюо и внушительный старец Лемуань со стороны обвинения и Трюффер, Оливье, Кейлинг, Лепентр и д‑р Бастис – со стороны защиты.

Сама Мари Беснар полностью отошла на задний план. Хотя речь шла в данном случае о ее судьбе, но в еще большей мере – об основной проблеме токсикологии, проблеме исследования трупов, длительное время пролежавших в земле.

Рене Шарль Трюо защищал традиционную теорию о невозможности проникновения мышьяка из почвы, во всяком случае в тех количествах, которые обнаружены в трупах. Он опирался на многочисленные эксперименты в Лудене. Спору нет, почва тамошнего кладбища содержит мышьяк, но его количество в расчете на килограмм земли несравненно меньше, чем количество мышьяка на килограмм веса в покойниках. Трюо считал невозможным, чтобы большие количества мышьяка попали в покойников из тех крошечных количеств мышьяка, которые имеются в почве. В покойниках, которые не имели никакого отношения к делу Беснар, но были тоже захоронены на Луденском кладбище, он не обнаружил ни капли мышьяка, буквально ни капли, хотя покоились они в той же самой земле. Марселен Беснар, Луиза Леконт и Мари‑Луиза Гуэн, три предполагаемые жертвы Мари Беснар, были похоронены вплотную друг к другу в одном и том же склепе. Все они около одиннадцати лет пролежали в этом склепе. Если бы мышьяк проник в трупы извне, то останки должны были бы содержать более или менее одинаковые количества этого яда. Между тем об этом не может быть речи. В то время как в останках Марселена Беснара мышьяка оказалось чрезвычайно много, в трупе Мари‑Луизы почти не обнаружено его следов. Нет, не могло быть никакого проникновения извне. Все опыты отрицают такую возможность.

После Трюо выступили Оливье, Лепентр, Кейлинг, Бастис и, разумеется, Трюффер. В затаившем дыхание зале суда они рассказали о результатах своих новейших экспериментов, которые подтвердили, что возбуждаемые микробами и их ферментами процессы в почве не поддаются количественным измерениям и не подчиняются какой‑либо закономерности, которую искал Трюо. Они тоже закапывали волосы и исследовали трупы покойников и в состоянии доказать, что во многих трупах, которые покоились рядом друг с другом в одной и той же земле, в одном случае имела место деятельность микроорганизмов, приведшая к растворению и перемещению мышьяка из земли в трупы, а в других – нет. На одном и том же кладбище в почве может в одном месте содержаться растворенный мышьяк, а в другом – нет. Трюффер же считал, опираясь на самые последние американские исследования и результаты своих опытов 1952–1954 гг., что вообще не существует четкой связи между количествами яда в почве и в трупе. Вопрос же о том, почему количество почвенного мышьяка столь ничтожно, а количество мышьяка в трупах очень велико, вообще не обсуждался. Из воды, в которой была растворена одна тысячная миллиграмма мышьяка, волосы поглотили при благоприятных микробиологический условиях мышьяк в количестве до 50 миллиграммов на килограмм веса покойника, то есть, по существовавшим до сих пор представлениям, невообразимое количество. Его новые эксперименты подтвердили также, что волосы способны накоплять в себе мышьяк не только из организма, но из окружающей среды таким образом, что его можно обнаружить в отдельных, разделенных друг от друга отрезках этих волос, особенно у их корней. При этом, вероятно, определенную роль играет проникновение микробов в кожу головы. Свой отчет Трюффер закончил заявлением, что прежние ошибочные представления коренятся в недооценке огромного многообразия природных процессов. Ныне же, по его словам, микробиология в состоянии лучше разобраться в этом многообразии, даже если она все еще сталкивается со множеством кажущихся отклонений от общего правила. Объяснить их – задача будущего. Затем Трюффер обратился персонально к Трюо и попросил его ответить на один вопрос. Каждому было ясно, что этот вопрос будет иметь особое значение. Трюффер спросил: «Вы не забыли сделать выводы из эксперимента, проведенного вами в 1952 году?»

Оказалось, что Трюо в 1952 г. отравил собаку и на два года закопал ее на кладбище в Лудене. Когда же через два года собаку снова откопали и исследовали, Трюо встал перед загадкой, почему в собаке не было найдено даже следа того яда, которым она была умерщвлена.

«Итак, – сказал Трюффер, – знаете ли вы, как это объяснить? Куда девался яд? Ведь вы не нашли его ни в трупе животного, ни в окружавшей его земле. Куда же он в таком случае исчез?»

Трюо ответил, что он этого не знает.

«В таком случае, – сказал Трюффер, – все мы должны признаться, что стоим перед еще не изведанным миром, когда речь идет о действии мышьяка под землей и внутри трупов», Далее он сказал, что, по его убеждению, токсикология больше не вправе исходить из существовавших до сих пор принципов при решении вопроса о том, мог мышьяк проникнуть в труп из почвы или не мог. Токсикологи должны признать, что они достигли той границы, которую обязаны не нарушать до тех пор, пока получше не узнают то, что лежит по другую ее сторону.

Если во время второго процесса по делу Беснар семь лет назад именно Трюффер был тем, кто предопределил вынесение решения в пользу подсудимой, то и теперь его выступление знаменовало начало рашающей фазы борьбы на последнем процессе по этому делу. Но, по существу, решающие слова все‑таки произнес человек, которого обвинение привлекло к делу в качестве биолога для проверки утверждений Трюффера, – профессор Лемуань. После долгого изложения результатов, его исследований в Лудене и в Пастеровском институте у этого старого человека вырвались такие слова: «Вообще надо сказать, что… бактериальное гниение растительных и животных останков способствует растворимости мышьяка. Но у нас нет возможности судить и говорить о том, имеет ли место процесс растворения мышьяка в данной почве или нет. Решение данного вопроса зависит от слишком многих факторов, скрытых пока от нашего взгляда…»

Этим заявлением Лемуань определенно поддержал утверждения Трюффера, Оливье, Лепентра, Кейлинга и Бастиса о том, что поскольку нет абсолютно точных объяснений происхождения мышьяка в том или ином случае, то нельзя безоговорочно отрицать возможность его проникновения в трупы из земли. А поскольку такая возможность, пусть даже самая минимальная, существует, вопрос следует решить в пользу подсудимой, независимо от того, что можно думать о ее виновности или невиновности.

Готра, ловивший каждое слово с напряженным вниманием, воскликнул, вскакивая: «Вот и конец делу Беснар!..»

Государственный обвинитель знал, что дает лишь арьергардный бой, когда с горечью прокричал Готра: «У вас удивительное свойство все истолковать по‑своему! По мнению экспертов, как я слышу, существуют различные возможности. А вы хотите из этого сделать вывод в пользу подсудимой, что только одна возможность, а именно растворимость мышьяка, является правилом. Но точно так же можно сказать, что правилом является его нерастворимость, то есть невозможность проникновения мышьяка в организм после смерти потерпевшего».

Торжествующий Готра бросил ему на это: «Да, но какая из обеих возможностей правильна, этого вы не знаете. Вы и ваши эксперты не в состоянии внести необходимую точность в объяснение феномена. Вы должны в данный момент признать. что вам невозможно далее поддерживать ваше обвинение». Драма, длившаяся свыше десяти лет, действительно подошла к концу. 12 декабря 1961 г. суд за недостаточностью улик оправдал Мари Беснар по обвинению в отравлении двенадцати человек.

**10**

*Уроки процесса: осознание границ токсикологии. Наступление синтетических ядов. Поток снотворных средств. Барбитураты как средства самоубийства. 16 февраля 1954 г. – дело Кристы Леман из Вормса. Первое убийство с помощью «Е‑605». Сюрприз для токсикологии. Курт Вагнер и обнаружение «Е‑605» в покойниках из Вормса. Эпидемия самоубийств с помощью «Е‑605». Поиск надежных методов обнаружения ядов. Разоблачение и осуждение Кристы Леман. Судебная токсикология не должна останавливаться в своем развитии.*

Осознание того факта, что возможности токсикологии ограниченны, и открытое признание, что такие пределы существовали и ранее, – важнейшие уроки, вытекающие из дела Беснар. Дело это было необычным. Но история нуждается и в таких случаях, чтобы обратить внимание на то или иное явление, и, очевидно, уроки, извлеченные из дела Беснар, были своевременными.

В 1954 г., когда в Бордо состоялся второй акт драмы, называемой «делом Беснар», токсикологи всего мира увидели, что они втянулись в борьбу, которая давала им мало поводов для слишком высокой оценки своих возможностей и для самодовольства, но немилосердно гнала их вперед.

Как уже говорилось в связи с историей алкалоидов, все более стремительное развитие фармацевтической промышленности в середине XX столетия, все более быстрый и расширяющийся выпуск новых синтетических ядов и лекарств, которые при неправильном употреблении тоже действовали как яды, – все это на глазах токсикологов росло угрожающим образом. Такое производство предоставляло миллионам людей все новые яды и создавало тем самым новые возможности для совершенствования убийств, самоубийств или отравлений по неосторожности, которые не поддавались контролю судебных токсикологов.

В 1863 г. Адольф Байер, в то время профессор органической химии в Берлинской промышленной академии (позже, будучи профессором в Мюнхене, он был возведен в дворянство и удостоен Нобелевской премии), получил в лаборатории барбитуровую кислоту, не предполагая, что тем самым он положил начало тому «девятому валу» в производстве ядовитых медикаментов, который через столетие уготовит токсикологам настоящий кошмар, как и в те далекие дни, когда выделение растительных алкалоидов породило ощущение беспомощности перед новыми ядами. Находясь в лирическом настроении, Байер назвал открытую им новую кислоту именем подруги своей юности Барбары. Спустя сорок лет, в 1904 г., два других немецких исследователя – Эмиль Фишер и Йозеф Фрайгер фон Меринг – установили, что производные барбитуровой кислоты – барбитал и фенобарбитал – могут применяться как снотворные средства. Меринга при этом тоже потянуло на лирику, а так как к выводу о терапевтическом значении барбитала он пришел, путешествуя вблизи Вероны, то дал первому снотворному средству, содержащему барбитуровую кислоту, название «веронал». А фенобарбитал вошел в историю фармакологии и ядоведения под именем люминала.

В первое же десятилетие после их открытия веронал и люминал, принятые в больших дозах, использовались как средства самоубийства. Один из их создателей – Фишер – пытался обнаружить барбитураты, как назвали новые средства, в моче отравившихся людей. Но лишь в период между 1924 и 1931 годами случаи самоубийства с помощью барбитуратов настолько участились, что это заставило всерьез заняться вопросами их обнаружения.

В борьбе с барбитуратами токсикологи пошли по пути, чреватому множеством осложнений. Когда же они в конце концов достигли своей цели – нашли точные методы обнаружения барбитуратов или продуктов распада, оставляемых ими в теле человека, то за барбитурами уже виднелся новый мир потенциальных ядов – мир транквилизаторов, то есть медикаментов, которые воздействовали непосредственно на психику чрезмерно раздраженных людей и должны были освобождать их от депрессии.

Но вероятно, не было неожиданности, которая бы в такой степени подчеркнула непредсказуемость развития противоборства токсикологов с ядами, как загадочное убийство, происшедшее в начале 1954 г. в западногерманском городе Вормсе и на многие месяцы возбудившее эмоции, инстинкты и мрачную жажду мести у миллионов людей.

Преступление, которое для Вормса стало, наверное, «преступлением века», выявилось в понедельник, 15 февраля 1954 г. Неприметный поначалу этот «случай в среде маленьких людей», произошел в тесном, приземистом, невзрачном домишке в одном из переулков старого Вормса, называемом Гроссен‑Фишервайде. В доме жили: Эва Ру – семидесятипятилетняя вдова, ее сын Вальтер, ее дочь Анни Хаман, тоже вдова (ее муж погиб на войне), со своей девятилетней дочерью Уши. В общем и целом семейство, каких в те дни было тысячи: пожилые родители или матери, которые приютили у себя своих дочерей, выбитых войной из колеи, и растили внуков, если дочери не могли больше вступить в брак или вести нормальное существование, а жадно старались наверстать упущенное в жизни, считая, что она их обделила. К таким дочерям принадлежала и Анни Хаман.

Под вечер того самого 15 февраля Анни Хаман возвратилась с гулянья, стала искать что‑нибудь поесть и нашла на тарелке в кухонном шкафу пирожное в виде начиненного кремом шоколадного гриба. Как впоследствии было установлено, Эва Ру отложила этот шоколадный гриб для своей внучки Уши, которая была в гостях у их родственников.

Анни Хаман взяла пирожное, откусила кусочек, проглотила часть откушенного, а остаток с отвращением выплюнула на пол, закричав: «Оно же горькое!» Тем временем домашняя собачка – белый шпиц схватила брошенную на пол сладость и съела ее.

Дальнейшие события последовали друг за другом так стремительно, что Эва Ру, сидевшая у кухонной плиты, впоследствии не смогла в полной мере восстановить в памяти все, что произошло. Анни Хаман побледнела, закачалась, попыталась опереться на стол и закричала: «Мама, я ничего не вижу!..» Она, шатаясь, пошла в спальню, упала на кровать, извивалась в судорогах, затем потеряла сознание. Прежде чем ее матери удалось позвать на помощь, Анни Хаман была мертва.

Вызванный соседями врач, бессильный помочь умершей, стоял возле нее. Ввиду особых обстоятельств смерти он избежал необходимости выяснять какую‑либо ее естественную причину да еще, чего доброго, возможности поставить ошибочный диагноз. На полу в кухне лежал белый шпиц. Он тоже был мертв. Мысль, что в данном случае свою роль сыграл какой‑то яд и что этот яд был в шоколадном грибе, пронзила врача. Он известил уголовную полицию.

Старший инспектор уголовной полиции Дамэн (начальник Вормского полицейского отделения) и два его сотрудника – Штайнбах и Эрхард – за годы своей работы в Вормсе мало сталкивались с особо тяжкими преступлениями. Они не подозревали, какие масштабы примет дело Анни Хаман. Их начальство, находившееся в Майнце, тоже не могло предвидеть, что этот случай вызовет какие‑либо необычные последствия.

Во всяком случае, труп забрала полиция, поручив директору института судебной медицины в Майнце профессору Курту Вагнеру произвести вскрытие трупа и установить причину смерти.

Как и следовало ожидать, вскрытие не дало никаких оснований считать данную смерть естественной. Застойные явления и скопления крови во многих органах, особенно в мозгу и в легких, позволяли предположить в лучшем случае общие симптомы отравления.

Вагнер принадлежал к числу тех судебных медиков, которые обладают достаточными познаниями и опытом в области токсикологии. Но поскольку единственная свидетельница внезапного заболевания покойной – ее мать – была не в состоянии точно описать сопутствовавшие этому симптомы, трудно было выбрать надлежащее направление исследования на яд. И все‑таки один симптом был настолько отчетлив, что даже вдова Ру не могла его не заметить: судороги. Следовательно, речь должна была идти о яде, вызывающем судороги. Но и такого ограничения сферы поисков вряд ли было достаточно. Поэтому оставалась полная неопределенность относительно того, приведет ли токсикологический анализ к какому‑либо положительному результату, каким образом и в течение какого времени.

Так что сотрудники уголовной полиции в Вормсе полагались в первую очередь на самих себя. Среди всеобщего замешательства, подозрений и обвинений Дамэн, Штайнбах и Эрхард попытались установить, каким образом смертоносное пирожное попало в дом. Им удалось довольно быстро реконструировать ход событий.

На почве своих любовных похождений Анни Хаман тесно сблизилась с другой вдовой лет тридцати, жившей на Паулюс‑штрассе, – Кристой Леман. Она была матерью троих детей. Ее муж – плиточник Карл‑Франц Леман, старше ее на шесть лет, – был пьяницей и в 1952 г. внезапно скончался от прободения желудка. В воскресенье, 14 февраля, за день до смерти Анни Хаман, Криста Леман постучала в кухонное окно дома Ру. В кухне сидели вдова Ру, ее дочь, сын и соседка, они рассматривали платье, которое Анни Хаман сделала к карнавалу. Криста Леман подсела к ним и вытащила пакет с пятью шоколадными грибами. Первый из них Криста Леман дала соседке, второй – Анни Хаман, третий – ее брату. Четвертое пирожное она взяла себе, а пятое предложила вдове Ру. Все, за исключением Эвы Ру, съели шоколадные грибы. А Эва Ру отложила пирожное в сторону и не позволила себе съесть сладкое, хотя Криста Леман на этом настаивала. Эва Ру сказала, что попробует его вечером, перед тем, как лечь спать. На самом же деле она уже заранее решила, что спрячет пирожное для своей внучки Уши. Позже она положила шоколадный гриб в кухонный шкаф, как раз на ту тарелку, в которой ее нашла на следующий день Анни Хаман.

Никто – ни Анни Хаман, ни ее брат, ни Криста Леман, ни соседка – не жаловался в воскресенье на какое‑либо недомогание. Следовательно, пирожные, которые они съели, были безвредны. Что же произошло с тем единственным шоколадным грибом, который мать покойной оставила для своей внучки? Испортился этот гриб еще раньше и поэтому был ядовит? Или же кто‑нибудь ввел в него яд, пока он лежал на кухне? Скажем, с целью отравить ребенка, которому предназначалось это пирожное?

Кто мог быть заинтересован в устранении этого ребенка? Бабушка? Абсурдная мысль. Мать? Ну, например, потому, что девочка как‑то мешала ее любовным связям? Еще более абсурдная идея. Будь в этом виновна Анни Хаман, она бы сама поостереглась пробовать шоколадный гриб.

Но кого же тогда намеревались умертвить? Анни Хаман? А кто намеревался? Может быть, ее брат? Но они оба были в хороших отношениях друг с другом. Или ее собственная мать? Вдова Ру, тихая женщина, воспитанная в среде мелких буржуа, действительно переживала из‑за образа жизни своей дочери. Но разве стала бы она из‑за этого убивать собственное дитя? Сколь бы непроницаемой ни была зачастую человеческая натура, как бы ни были скрыты от чужого взора мысли и намерения, прячущиеся иной раз за добрыми лицами стариков, все же старший инспектор Дамэн не мог представить себе вдову Ру в роли убийцы своей собственной дочери. Он продолжал исследовать обстоятельства дела. А не существует ли некто неизвестный, который питал ненависть к Анни Хаман или к семье Ру? Но после того воскресенья ни один посторонний не переступал порога их дома. Никто, следовательно, не имел возможности отравить шоколадный гриб после того, как тот оказался в кухонном шкафу. Лишь Криста Леман заходила на минутку в понедельник и вышла вместе с Анни. Но в это время вдова Ру была дома, а, кроме того, подруга дочери не знала, где лежит пирожное.

Таковы обстоятельства, которые удалось выяснить 15 и 16 февраля в доме на Гроссен‑Фишервайде. Дамэн по долгу службы решил допросить Кристу Леман по поводу предыстории случившихся событий. Когда сотрудники уголовной полиции в первый раз зашли к Кристе Леман в ее неприбранное жилище, они увидели среднего роста блондинку с серыми глазами, со слишком острым носом на помятом лице и маленькими, острыми зубками. В общем, отнюдь не красавица и уж никак не соблазнительная. Казалось, она все еще не пришла в себя после смерти подруги.

Криста без колебаний подтвердила, что пирожные в дом Ру принесла она. Вместе с Анни Хаман она купила их днем 13 февраля. Где? В магазине Вортмана. Потом она рассталась с подругой, ибо спешила к своим детям. А в воскресенье она с этими сладостями пошла в гости к семейству Ру. Все остальное уже известно. По ее словам, она с отчаянием думает о том, почему четыре шоколадных гриба не причинили никому вреда, а пятый убил ее подругу? А разве не может быть так, что часть пирожных, продаваемых в магазине Вортмана, была ядовита и одно из них через ее руки попало в дом ее подруги?

Криста Леман вела себя настолько убедительно, что сотрудники уголовной полиции сразу же исключили ее из круга подозреваемых лиц. Если виновна она, рассуждали они, то ее посягательство должно было быть направлено против вдовы Ру – ведь именно ей она дала отравленное пирожное. Но что могло толкнуть Кристу Леман на убийство старухи? Бесспорно, гораздо больше оснований предположить возможность попадания яда в часть продукции в процессе массового изготовления шоколадных грибов. Конечно, речь могла идти и о несчастном случае, и даже о действиях какого‑нибудь психопата, причастного к изготовлению, упаковке или перевозке пирожных. В анналах расследований дел об отравлениях немало случаев, когда коварно замаскировавшиеся убийцы получают садистское удовлетворение именно от того, что где‑то умирают лично им не известные люди, а полиция идет по ложному следу и подозревает невиновного в убийстве.

Дамэн решил провести дознание в кондитерском отделе магазина Вортмана. Фирма пустила в продажу всего 140 шоколадных грибов, которые она получила у одного кондитера. Из них 133 уже были проданы. Оставшиеся семь Дамэн велел изъять и в самом срочном порядке отправить для анализа на яд в институт судебной медицины в Майнце. Вечером по радио было передано сообщение с просьбой воздержаться от употребления шоколадных грибов, купленных в магазине у Вортмана.

В тот вечер казалось, что расследование, скорее всего, зашло в тупик. Если хотя бы одно из изъятых пирожных содержит яд, остается только одно – сначала проверить персонал магазина, а затем транспортирующую и изготавливающую пирожные фирмы: расследование, таким образом, выйдет за пределы Вормса и станет безбрежным. Лишь если яд не обнаружат, то можно будет с уверенностью предполагать, что яд, погубивший Анни Хаман, попал в пирожное только по пути из магазина в кухонный шкаф вдовы ру.

Главная арена событий переместилась теперь в 18‑и корпус университетской клиники в Майнце, где работал Курт Вагнер со своими ассистентами. Они предприняли поиски ядов, вызывающих судороги, прежде всего стрихнина, а потом и других алкалоидов. Но все анализы окончились совершенно безрезультатно.

В это время лишь немногие токсикологи в ФРГ занимались препаратом под названием «Е‑605», который относится к средствам защиты растений от насекомых. Эти средства были созданы незадолго перед второй мировой войной или вскоре после нее. То, что даже среди немецких токсикологов этим средством к тому времени занимались лишь немногие, очень удивительно, ибо «Е‑605» являлся немецким изобретением. Однако это обстоятельство исчерпывающе объясняет примечательная история «Е‑605».

Между 1934 и 1945 годами немецкий химик Герхард Шрадер на заводах Байера в Леверкузене выделил органические соединения фосфора, которые при проведении экспериментов биологом Кюккенталем оказали необычно сильное ядовитое воздействие на все виды вредителей растений. Последняя стадия исследования этих соединений закончилась в начале 1945 г. Препарат получил название «Е‑605». Испытание этого средства защиты растений в полевых условиях началось как раз тогда, когда на территорию Германии вступили американские войска и емкости с новым веществом были конфискованы. Вот так и случилось, что уже этот готовый препарат сначала был применен в Соединенных Штатах, где получил название «паратион». За несколько лет производство паратиона достигло огромных размеров. Только за один 1950 г. во Флориде были распылены тысячи тонн препарата, чтобы очистить от вредителей апельсиновые плантации. Под различными названиями – от фолидола до тиофоса‑3423 – это средство распространилось по всему свету и в 1948 г. вернулось на свою родину. Здесь оно производилось в больших количествах, расфасовывалось в простые медицинские флаконы с завинчивающимися колпачками, а позже – в пластмассовые ампулы и свободно продавалось в магазинах семян и удобрений, а также в аптеках. Оно снова получило название «Е‑605» и сопровождалось предостережением на этикетке, что средство оказывает ядовитое воздействие «при ненадлежащем обращении».

До 1953 г. во всей Северной Америке были известны лишь 168 случаев отравления данным препаратом из которых все, кроме девяти, протекали легко. Причиной отравления была грубая неосторожность, из‑за которой значительные количества яда попадали в рот. Опытным путем американцы установили смертельные дозы «Е‑605». По своему действию он был очень похож на синильную кислоту, отравление которой также приводило после судорог к параличу дыхания. Данный яд никогда не использовался для убийств или самоубийств. Поэтому и не существовало никаких судебно‑медицинских методов его обнаружения.

Вследствие описанных обстоятельств в ФРГ лишь после 1948 г. произошло несколько случаев отравления этим ядом. В 1952 и 1953 годах некоторые химики и токсикологи исследовали ткани и выделения организмов, отравленных препаратом «Е‑605». Они разработали метод, с помощью которого удавалось доказать наличие в крови «Е‑605». Исследуемая субстанция обрабатывалась каустиком, вызывавшим яркую желтую окраску. Если же подвергнуть выпариванию содержимое желудка или экстракт из внутренних органов отравленного, а затем пар сконденсировать и полученный раствор обработать по способу Аверелла и Морриса, то при наличии «Е‑605» он приобретет голубовато‑фиолетовую окраску. Были сделаны также первые, робкие опыты с применением спектрального анализа и «бумажной хроматографии». Но так как считалось, что нечего спешить с развитием столь отдаленной области токсикологии, то все исследования находились лишь в начальной стадии, когда Курт Вагнер в феврале 1954 г., встав перед проблемой обнаружения яда, которым была отравлена Анни Хаман, а это со всей очевидностью был какой‑то вызывающий судороги яд, безрезультатно применил все известные методы исследования на обнаружение ядов.

Вспомнив некоторые публикации о «Е‑605», в частности описания предсмертных судорог, Вагнер по наитию напал на след этого яда. Поскольку «Е‑605» еще никогда не использовали в качестве яда для убийства, то след этот был настолько зыбкий, что Вагнер сам вряд ли надеялся получить положительные результаты. Часть содержимого желудка Анни Хаман была подвергнута дистилляции с помощью водяного пара, и спустя немного времени Вагнер и его ассистенты оказались перед лицом одного из самых больших сюрпризов в их жизни. Почерпнутые ими из специальной литературы методы тестов и реактивы привели к образованиям такого цвета, который, судя по накопленному к тому времени опыту, свидетельствовал о наличии препарата «Е‑605».

В первый момент Вагнер сомневался, можно ли верить в правильность этого результата. Он велел продолжать общие анализы на яд, чтобы все же установить, не идет ли здесь речь о каком‑нибудь другом яде. Но все эти исследования вновь оказались безуспешными. Единственный позитивный результат, который был достигнут в ходе анализов, указывал на наличие «Е‑605». Это побудило Вагнера подвергнуть анализу на него пирожные, изъятые из магазина Вортмана, но в них не оказалось ни малейших следов ядовитого препарата, предназначенного для защиты растений.

Но Вагнер все еще колебался. Он и его сотрудники переживали драматические минуты. Если в данном случае имеет место убийство с помощью препарата «Е‑605», то это первое ставшее известным убийство такого рода. Допустимо ли в разгар начальной стадии судебно‑медицинского изучения «Е‑605» разглашать результаты анализов, которые могут послужить научной уликой для обвинения в умышленном убийстве? Когда Вагнер все же окончательно решился передать данные об обнаружении «Е‑605» в прокуратуру и уголовную полицию, он недвусмысленно говорил лишь о «высокой вероятности» того, что в данном случае налицо наличие «Е‑605», и о необходимости подкрепить полученные им данные результатами дальнейшего расследования и признаниями виновных.

Ожидая с крайним нетерпением известия о результатах токсикологической экспертизы, которое пришло в Вормс в четверг, Дамэн, Штайнбах и Эрхард тоже не сидели сложа руки. Не исключая до конца, что яд мог попасть в шоколадный гриб по дороге из магазина до кухни вдовы Ру, Дамэн решил более детально ознакомиться с обликом Кристы Леман. Этот облик, как оказалось, был не просто непривлекательным, но даже возбудил у Дамэна, Штайнбаха и Эрхарда первые подозрения против женщины с Паулюс‑штрассе.

Она выросла в безрадостной обстановке и, по сути дела, без родителей. Ее душевнобольная мать уже много лет находилась в психиатрической лечебнице, отец – Карл Амброс, столяр‑мебельщик, потерпел крушение и во втором браке. По окончании восьмилетней школы Криста Леман работала на кожевенной фабрике, а затем на красильном предприятии Хёхста. За кражу она была осуждена к лишению свободы условно. Работая в Хёхсте, она встретила Карла‑Франца Лемана, который страдал желудочным заболеванием и слегка хромал, почему и был освобожден от военной службы во время второй мировой войны. В 1944 г. она вышла за него замуж и перебралась к родителям мужа в Вормс. Леман открыл мастерскую, которая процветала в голодное лихолетье 1945–1948 гг. Это было время грязных сделок на черном рынке, бесконечных пьянок и неоплаченных счетов, выставляемых поставщикам.

Денежная реформа в Западной Германии положила конец этим источникам легкой наживы. Но Криста Леман была не в силах отказаться от веселой жизни прежних времен. Дело дошло до диких скандалов и драк с мужем, сцен с его родителями, а после смерти свекрови – со свекром. Пошли быстротечные связи с американскими солдатами и другими мужчинами. Леман втянулся в пьянство. Драки Кристы с мужем становились все более яростными, пока 27 сентября 1952 г. он скоропостижно не скончался.

Обстоятельства смерти Карла‑Франца Лемана озадачили Дамэна и его сотрудников. В тот день – 27 сентября – Леман с утра был у парикмахера, а вернувшись домой, неожиданно умер в страшных судорогах. Вызванный доктор Ваттрин предположил, что причиной смерти является прободение язвы желудка, – диагноз вполне логичный с учетом желудочной болезни и пьянства покойного. Но правилен ли он? Не напоминают ли судороги обстоятельства, при которых умерла Анни Хаман?

Криста Леман никогда не отрицала, что смерть мужа была для нее облегчением. Ее квартира совершенно открыто стала местом свиданий с быстро сменяющими друг друга партнерами. Вместо скандалов с мужем начались ссоры со свекром – Валентином Леманом. И тут наконец Дамэн столкнулся со вторым происшествием, породившим у него подозрения. 14 октября 1953 г. Валентин Леман через полчаса после завтрака, совершая поездку по городу, замертво упал со своего велосипеда. Вызванный прохожими врач засвидетельствовал смерть от паралича сердца. Конечно, такой диагноз напрашивался сам собой. Но был ли и он правилен? Смерть Валентина Лемана освободила Кристу Леман от последних препятствий в собственном доме. После его внезапной кончины Криста Леман вместе с Анни Хаман беспрепятственно развлекались в свое удовольствие.

И если Дамэн никак не мог выяснить мотив, который мог бы побудить Кристу Леман убить Эву Ру, то он нисколько не сомневался, какой мотив двигал ею при убийстве своего мужа и свекра. Оба мешали ее любовным утехам. Но когда Дамэн с сотрудниками столкнулись с вопросом: а может быть и вдова Ру тоже была препятствием для Кристы Леман?

Вот насколько преуспело расследование, проводимое в Вормсе, к тому моменту, когда из Майнца поступили результаты исследования, внесшие ясность в то, что пирожные были отравлены по пути из магазина в дом в переулке Гроссен‑Фишервайде. Отравлены с помощью «Е‑605». Это название для сотрудников уголовной полиции Вормса было так же малопонятно, как и для широкой публики, которая вскоре услышала его. Но тот факт, что этот яд производился на предприятиях Байера, неизбежно привел к следующему, неблагоприятному для Кристы Леман вопросу. Ведь она работала на красильном предприятии в Хёхсте. Не там ли она прослышала о смертельном действии «Е‑605»?

Когда 19 февраля хоронили Анни Хаман, по Вормсу разнеслась весть, что ее отравили таинственным средством, употребляемым для защиты растений. Нездоровый интерес, пробужденный во всей стране к препарату «Е‑605», сделал свое дело: любопытные устремились на кладбище. Среди них затерялся и Дамэн, наблюдавший за Кристой Леман, подошедшей к открытому гробу с залитым слезами лицом. Он арестовал ее при выходе с кладбища.

Дамэн, Штайнбах и Эрхард допрашивали арестованную с пятницы до воскресенья. «Е‑605»? Она настаивала на том, что не знает яда с таким названием. Обвинение в том, что она убила Анни Хаман, намереваясь в действительности убить ее мать, она встретила тоже совершенно спокойно и заявила: «Это не я». На обвинение в отравлении своего мужа и свекра она ответила обескураживающей язвительной усмешкой.

Обыск ее квартиры не принес абсолютно никаких доказательств того, что «Е‑605» когда‑либо у нее имелся. С утра в понедельник расследование, казалось, зашло в тупик. В уголовной полиции Майнца впервые подумали о целесообразности эксгумации тел Карла‑Франца и Валентина Леманов, потому что это, судя по всему, представляло собой единственную возможность получить путем анализов на содержание яда дальнейшие улики против арестованной. Но принять такое решение было совсем не просто. Дело в том, что оба покойника пролежали в земле достаточно долго: соответственно полтора года и четыре месяца. А в ту пору не было еще никакого опыта относительно того, можно ли по прошествии такого времени обнаружить «Е‑605» в мертвецах. Профессор Вагнер не мог сообщить ничего определенного по этому поводу. Тем не менее эксгумация представлялась неизбежной. С пятницы все больше и больше людей собиралось перед тюрьмой при местном суде Вормса. Чем бы ни отличался этот случай убийства от сотен других, необычность ему придавало таинственное сочетание букв и цифр: «Е‑605». Репортеры из больших газет появились в Вормсе и ждали результатов расследования.

И вот во вторник, 23 февраля произошла первая неожиданность. В 10 часов утра Криста Леман потребовала привести к ней в камеру ее отца – Карла Амброса и священника. Что ее подвигло на это, так никогда и не выяснилось. Было ли это вызвано пониманием того, что все для нее потеряно? Или же это был приступ упрямой гордости, которая мешала ей признаться в чем‑либо Дамэну и его помощникам и заставила искать обходный путь – через отца и священника. Что бы ни побудило ее к тому, но она призналась, что начинила препаратом «Е‑605» шоколадный гриб, убивший Анни. Она подтвердила это и перед следственным судьей, к которому ее немедленно доставили. Да, она хотела отравить вдову Ру, правда не до такой степени, чтобы та умерла, а чтобы она только заболела. Она уверяла, что Анни Хаман вовлекла ее в свою безудержную жизнь. Поэтому будто бы она пришла к мысли сделать так, чтобы серьезно заболела мать Анни: ведь это заставит Анни быть все время дома, чтобы ухаживать за больной матерью, а ее, Кристу Леман, Анни тогда оставит в покое. Она ведь не знала, что яд «Е‑605» смертелен.

Ее признание было смесью правды и лжи, совершенно явной попыткой спасти себя от обвинения в умышленном убийстве. Но после того, как в стене ее обороны была пробита первая брешь, Дамэну понадобилось еще лишь несколько часов, чтобы добиться от нее полного и правдивого признания. Она созналась, что Эва Ру была для нее препятствием, которое необходимо было убрать. Вдова Ру называла ее злым гением своей дочери и делала все, чтобы оторвать от нее Анни. После этого первого полного признания сотрудники уголовной полиции допрашивали Кристу Леман до позднего вечера относительно внезапной смерти ее свекра 14 октября 1953 г. Но все усилия казались напрасными, пока не произошла вторая неожиданность. Кристу Леман уже вывели из комнаты, где шел допрос. И тут – посреди коридора – она с холодной насмешкой заявила: «Вообще‑то и свекра я тоже отравила».

Снова встал вопрос: что побудило ее к такому признанию? Было ли это проявлением болезненной гордости убийцы, привыкшей сознавать себя в мире врагов и из самолюбия признаваться только тогда и там, где и когда она пожелает, а не там и тогда, где и когда полиция захочет получить от нее признание? Было ли ей ясно, что если яд нашли в трупе Анни Хаман, то его обнаружили бы и в трупе ее свекра? Или она, не желая долго ждать, как бы заявила со снисходительным высокомерием: «Что вам надо? Чего вы морочите мне голову? Ну, вот вам ваше убийство!»

Во всяком случае, она призналась. Да, она влила целую ампулу «Е‑605» в йогурт, поданный на завтрак Валентину Леману, и добавила туда сахару. Валентин Леман съел йогурт, влез на свой велосипед и спустя двадцать минут свалился с него вследствие паралича дыхания.

Однако отвратительная игра в признания еще не кончилась. Доставленная в тюрьму Криста Леман угрожающе погрозила кулаками машине для перевозки арестантов.

Утром в среду сотрудники уголовной полиции час за часом бесплодно пытались побудить заключенную признаться в отравлении своего мужа, но она все холодно и насмешливо отрицала. Дамэну, Штайнбаху и Эрхарду ничего не оставалось, как продолжать свои попытки. После окончания очередного допроса, стоя уже возле открытой двери в коридор, Криста Леман задержалась на пару секунд, посмотрела на полицейских чиновников и мимоходом обронила: «И мужа своего я тоже извела».

Карл‑Франц Леман получил яд на завтрак в молоке. Но где Криста достала его? В витрине аптекарского магазина в Вормсе в 1952 г. ей бросились в глаза коробки с этикеткой «Яд». Ради этой надписи она купила одну коробку с несколькими ампулами «E‑605». Действие этого яда она испытала на собачке‑таксе.

Такова была ее история. Из‑за простоты, с которой оказалось возможным приобрести яд, совершить убийства и ввести в заблуждение двух врачей, она казалась столь невероятной, что даже прокуратура не хотела и не могла принять ее всерьез без проверки.

12 марта останки покойных Карла‑Франца и Валентина Ломана были эксгумированы, и части трупов, необходимые для проведения анализов на наличие яда «Е‑605», были отправлены в Майнц. Тот факт, что в трупе Валентина Лемана сохранились остатки стенки желудка, вселил в профессора Вагнера надежду на обнаружение следов яда. Через день предположение Вагнера оправдалось. Удалось найти следы «Е‑605» в обоих трупах и тем самым замкнуть цепь доказательств.

В 1954 г. в ФРГ не было второго такого уголовного дела, которое имело бы (совершенно независимо от произведенной им сенсации) столь непосредственные и в самом прямом смысле слова смертельные последствия. Неоднократно повторявшиеся в истории убийства путем отравления приводили к появлению «модных ядов», которые распространялись среди убийц и самоубийц, подобно бактериям заразной болезни. Как часто даже старый‑престарый мышьяк заново входил «в моду»! Но то, что случилось с «Е‑605» в февральские дни 1954 г., когда его название впервые всплыло в связи с делом Кристы Леман, было беспримерно. В тот же момент в ФРГ и Австрии прокатилась волна самоубийств с помощью «Е‑605». Заголовки в газетах следовали один за другим:

«Вормский яд требует очередной человеческой жизни», «Еще пять самоубийств с помощью „Е‑605“, „Шесть новых самоубийств с использованием средства для борьбы с сельскохозяйственными вредителями“, „Семья из четырех человек отравилась «Е‑605“.

Когда 20 сентября 1954 г. Криста Леман предстала перед судом в Майнце, когда она, не отрицая своего признания, без всяких признаков раскаяния или печали выслушала приговор к пожизненному заключению, оглашенный председателем местного суда Никсом, снова поднялась волна убийств и самоубийств.

Не было ни одного института судебной медицины и почти ни одной химико‑токсикологической лаборатории, которые бы не соперничали друг с другом в обнаружении «Е‑605». При этом опять не обошлось без сюрпризов и неудач.

Вновь все усилия сконцентрировались на достижении абсолютной надежности результатов исследований. Через метод «бумажной хроматографии» они в итоге привели к методу, который позволял путем так называемой спектрофотометрии в сфере ультрафиолетового излучения непосредственно обнаруживать выделенное из покойников активное вещество «Е‑605» и даже измерять его количество.

При ознакомлении с историей вторжения «Е‑605» в сферу судебной токсикологии она может показаться всего лишь коротким эпизодом. Но внезапность этого вторжения, по сути дела, осветила ярче, чем во многих других случаях, ту обстановку непрерывной борьбы, которая сложилась в токсикологии за первые сто – сто пятьдесят лет ее развития.

Токсикология стала большим, переросшим границы стран и континентов зданием. Работа первопроходцев многих поколений заложила фундамент этого здания, который уже ничто не сможет поколебать. Но судебная токсикология еще в большей степени, чем судебная медицина в целом, подчиняется суровому закону – быть в постоянной готовности и не останавливаться в своем развитии. Она должна равняться на своих «матерей» – химию и фармакологию, которые не перестали создавать новые вещества – вещества, необходимые в эпоху массового индустриального общества для его дальнейшего развития, но дающие в то же время в руки людей этой эпохи яды в таком многообразии и количестве, которые Орфила или Стасу не могли даже присниться.

Далеко то время, когда лишь отдельные случаи убийства путем отравления требовали вмешательства токсикологов. Сфера токсикологии ныне распространилась чрезвычайно широко: от убийств, самоубийств, неясных случаев смерти до общих пределов нынешнего социального мира с его повседневными возможностями отравления миллионов людей на их рабочих местах. Она распространилась еще дальше – в хаос современного транспорта, в работу по изучению методов доказывания наличия алкоголя как причины бесчисленного количества несчастных случаев, в том числе и со смертельным исходом. Да, мир токсикологии проник и в повседневную работу сотен тысяч врачей, в рамках деятельности которых остаются нераскрытыми многочисленные отравления и убийства с помощью яда, потому что врачи еще не научились распознавать многоликие симптомы отравлений.

Токсикологи знают, что еще в течение долгого времени их ждут новые дискуссии, новые встречи с новыми формами проявления и применения гидры по имени яд, которую при всей ее величине и вездесущности можно охарактеризовать формулой немецкого токсиколога Герберта Шрайбера: «Отравление – это явление, при котором вещество вступает во взаимодействие с организмом, вследствие чего наступают негативные последствия для организма». Они узнали, что даже знаменитость ненадолго застрахована от ошибки и что их высший принцип должен оставаться таким, как его сформулировал Лакассань: «Надо уметь сомневаться». Им было ясно, что наведение мостов между наукой и деятельностью уголовной полиции еще не окончено и что эти мосты должны становиться все шире. С одной стороны, все, вплоть до последнего сотрудника уголовной полиции, должны быть осведомлены, насколько широки реальные возможности науки, а с другой стороны, перед токсикологами стоит задача: еще больше, чем это было до сих пор, вживаться в атмосферу и изучать ценный опыт криминалистической практики.

И все же, если взглянуть на более чем столетнюю историю судебной токсикологии и ее медленно развивавшихся связей с уголовной полицией, если сопоставить и взвесить все позитивное и негативное в этом сотрудничестве, то чаша весов с позитивным, завоеванным и достигнутым намного перевесит ту чашу весов, в которой собраны ошибки, порочные методы, разочарования и сомнения.

1. Криппен проклял капитана Кендалла во время ареста. Это проклятие сбылось! См. Лев Скрягин – Тайны морских катастроф. Можно найти в библиотеке Ершова http://vgershov.lib.ru [↑](#footnote-ref-1)
2. Одна из двух категорий адвокатов в Англии (другая – барристеры). Обычно они ведут досудебную подготовку дел, в самом же процессе выступают барристоры. – *Прим. перев.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Коронер – должностное лицо, расследующее дела о случаях смерти при подозрительных обстоятельствах, о предполагаемых убийствах, когда не найден труп, и самоубийствах. – *Прим. перев.* [↑](#footnote-ref-3)